

ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

ДУМА
ПРО ОПАНАСА



ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ
ДУМА
ПРО ОПАНАСА

СТИХИ И ПОЭМЫ



ХАБАРОВСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1969

скан ewgeniy-new

Р 2
Б 14

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Печатается по изданию:

Эдуард Багрицкий

СТИХИ И ПОЭМЫ

Издательство

«Художественная литература»

Москва, 1964

7-6-3

ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

Творчество Эдуарда Багрицкого получило широкую известность во второй половине двадцатых годов, после того как его стихотворения начали появляться на страницах московских журналов, а затем были объединены в книге «Юго-запад». Но еще гораздо раньше, в годы первой мировой войны, стихи Багрицкого уже печатались в сборниках, выпускаемых группой начинающих поэтов в Одессе.

Здесь, в этом большом портовом городе, было много молодых литераторов, впоследствии ставших известными писателями: В. Шибер, В. Катаев, И. Ильф и Е. Петров, С. Кирсанов, Ю. Олеша, Л. Славин и другие. Они вступали в жизнь в то время, когда были широко распространены буржуазные декадентские представления о сущности искусства, которые оказывали тлетворное влияние на идейно незрелую, только начинавшую свой творческий путь литературную молодежь. Социалистическая революция открыла художникам слова дорогу к реалистическому, жизнеутверждающему, действительному искусству, к подлинному мастерству. По этой дороге пошли самые талантливые и честные поэты, прозаики, драматурги, получившие возможность раскрыть и плодотворно развивать наиболее сильные и благородные стороны своего дарования.

Сказанное полностью относится и к Э. Багрицкому. Первые стихи его, печатавшиеся в одесских сборниках, таких, как «Авто в облаках», «Седьмое покрывало», неоригинальны, подражательны, лишены внутреннего единства. Самые различные образцы, от акмеистов до Игоря Северянина, угадываются в написанных молодым поэтом строфах.

Стихи Багрицкого дореволюционных лет, воспевавшие прекрасных «креолок», «каравеллы», «бригантшы» и другой псевдоромантический реквизит, были чрезвычайно далеки от того сугубо прозаического и тяжелого быта, который окружал самого поэта. Эдуард Георгиевич Багрицкий (настоящая фамилия его Дзюбин) родился 4 ноября 1895 года в Одессе в бедной еврейской семье. Ученик реального, а затем землемерного училища, он вырос в обстановке нужды, жалкого прозябания, беспросветной и унижительно-покорной бедно-

сти. Из душевного, ненавистного ему мешанского мирка и старался он убежать в мир выдуманый и прекрасный, но эта «красота» была мнимой, декоративной, сусальной.

Лишь после Октября 1917 года, в годы гражданской войны, Эдуард Багрицкий узнал подлинную поэзию — поэзию вдохновенной борьбы за свободу и счастье народа, поэзию напряженных, упорных боев с врагами революции.

В 1917 году Багрицкий находился в войсках, действовавших за Каспием, но вскоре вернулся в Одессу. В 1919 году он работал в Югросте, писал воззвания и частушки, агитационные стихи, выезжал на фронт с агитпоездом.

Для выражения владевших им оптимистических, жизнелюбивых настроений поэт по-прежнему привлекал героев, заимствованных из литературных и исторических источников, но это были герои иного склада, иного облика. Рассказывая о Диделе («Птицелов»), что бродит по горам и лесам, пересвистываясь с соловьями и зяблуками, Багрицкий создавал сияющую, многоцветную картину солнечного, веселого мира:

И пред ним — зеленый снизу,
Голубой и синий сверху —
Мир естает огромной птицей,
Свищет, щелкает, звенит.

Полюбился Багрицкому и герой знаменитой книги Шарля де Костера — Тиль Уленшпигель, смелый борец за свободу родной Фландрии, народный певец, находящий отраду в том, чтобы своими неснями поддерживать бодрость народа, звать его к борьбе с угнетателями — испанскими феодалами.

Как мы видим, образы далекого прошлого, овеянные романтической дымкой, вдохновлявшие Багрицкого, очень отличны от псевдоромантических персонажей из его предреволюционных стихов. Не изысканные экзотические красавицы, а простые люди, плебеи, громадные аристократы, привлекают теперь поэта.

Показательно, что переводы, за которые принялся Багрицкий также в начале двадцатых годов, тесно связаны — и по своим темам и по характеру образности — с общим направлением его творчества. Он обращается к стихам великого народного поэта Шотландии Роберта Бернса, к знаменитой «Песне о рубашке» Томаса Гуда, проникнутой ненавистью к эксплуататорам, к «разбойничьей» балладе Вальтера Скотта, почерпнувшего ее сюжет из народной поэзии. Эти стихи трудно назвать переводами в точном смысле слова. Слишком заметны их прямые связи с произведениями самого Багрицкого — те же словесные краски, тот же строй метафор и эпитетов: «горячие травы», «жирный пух густой сажи», «ржавые звезды», «сизые леса»... И такие же герои — простые люди, ненавидящие богачей и берущиеся за меч, чтобы драться за волю. Отважный «лесной рыцарь» Вальтера Скотта и «веселые нищие» Р. Бернса становятся рядом с Тилем Уленшпигелем в общий строй романтических, мятежных скитальцев.

В этот же период — в первой половине двадцатых годов — Багрицкий продолжает свою работу газетчика. Он, как и прежде, сотрудничает в Югросте, выступает в рабочих клубах, его стихи появляются на страницах различных газет и журналов, особенно часто в «Одесских известиях» и в органе водников «Моряк». Среди них также нередки произведения, посвященные прошлому. Но обыч-

по это историко-революционные стихи, и в них речь идет о реальных событиях и личностях: о революции 1789 года, о Парижской Коммуне, о национальном герое Италии — Гарибальди. И еще больше стихов, непосредственно откликающихся на события современности, говорящих о гражданской войне, международном единстве трудящихся, восстановлении народного хозяйства, борьбе с врагами советской страны.

Переехав в 1925 году в Москву, Багрицкий начинает сотрудничать в центральной печати. Опубликованное в том же году в журнале «Красная новь» стихотворение «Арбуз» сразу привлекло внимание читателя. Так же обстояло дело и с другими стихами поэта, появившимися в периодике. Когда в 1928 году издательство «Земля и фабрика» выпустило в свет первую книгу Багрицкого «Юго-запад», имя его было уже хорошо известно. Стоит отметить чрезвычайную взыскательность поэта: только через тринадцать лет со дня первого появления стихов Багрицкого в печати вышел его первый сборник, в который была включена лишь незначительная часть произведений, опубликованных ранее в газетах и журналах.

Стиху Багрицкого была свойственна великолепная сила пластического и динамичного изображения; казалось бы, предельная близость к воплощаемому и вместе с тем способность смотреть на него со стороны, видеть в перспективе, в необычном освещении, в сопоставлении с самыми разными, часто неожиданными фактами и обстоятельствами.

Эти драгоценные качества поэтического видения Багрицкого запечатлены в строках, завершающих его стихотворение «Ночь»:

И на что мне язык, умевший слова,
Ощущать, как плодовой сок?
И на что мне глаза, которым дано
Удивляться каждой звезде?
И на что мне божественный слух совы,
Различающий крови злов?
И на что мне сердце, стучащее в лад
Шагам и стихам моим?!

Бытие этого доброго, горячего и широкого сердца, открытого всем впечатлениям бытия, властное течение слова, напоенного красками, запахами, звуками жизни, внятно слышалось во всем написанном Багрицким после того, как были отброшены назойливые клише энигматства, — во всем, от стихотворения о веселом Диделе до поэмы «Смерть пионерки». Вместе с тем умонастроение поэта, его отношение к окружающему миру заметно менялись. И именно глубочайшая в поэзии Багрицкого связь чувства и слова помогала читателю воочию убеждаться во всей сложности исканий поэта, потому что вместе с постижением поэмы идей, новым взглядом на окружающее преобразовалась в его стихах тональность поэтической речи, компоновка стихового строя, характер изобразительных средств. В самом деле, только что упомянутое стихотворение «Ночь» было включено в тот же, первый, раздел «Юго-запада», что и «Птицелов» и «Удешпигель». Но как отличалось оно от них своей смятенностью, ощущением неблагополучия и неустроенности, горечью интонаций, свирепостью образов! Скитальцы, одетые в костюмы средневековья, беспечно бродили по полям и улицам, с наслаждением вдыхая запахи чужих пиров, на которые их никто не приглашал. Совсем по-иному чувствует себя поэт, бредущий по тро-

туару современного города и разглядывающий витрины гастрономических магазинов. Пища кажется ему чудовищной, недружелюбной: рыбы становятся чешуйчатыми мечами, апельсины — ядрами, наполненными взрывчатой кислотой, и вся эта «оголтелая жратва» издевается над бедным прохожим, грозит ему, пророчит гибель... Сам белый стих звучит здесь первое, напряженно, едко; слышится жестокий, безжалостный сарказм, ненависть, издевка и по отношению к «неизвестным пьяницам», и особенно к торговцу — давнишнему врагу многих поколений поэтов. Причина столь резкой смены настроения, интонаций, образов проясняется уже в следующей строфе стихотворения, свидетельствующей о том, что дело происходит в Москве времен нэпа.

Нет надобности сейчас скрывать эту растерянность, этот душевный разброд, отразившийся в произведениях немногочисленных, но ставших предметом долгого, взволнованного обсуждения. Но одновременно следует помнить и о том, что эти преувеличенные опасения были рождены заботой о судьбах революции, ненавистью к ее врагам — торгашам, собственникам, мещанам. Багрицкому было глубоко враждебно стремление к самодовольной успокоенности, к пошлому застою, к безмятежному эгонистическому пользованию бытовыми благами. Но на какое-то время он вдруг почувствовал себя слабым и безоружным. Он еще не мог наступать на мещанство, — лишь проклинал его...

Это произошло как раз тогда, когда Багрицкий оставил веселых, беспечных друзей прошлого — Ламме, Тиля, Диделя — и обратился к реальной действительности. Он вышел из уютного и обжитого книжного мирка — навстречу суровым ветрам подлинной жизни. И первые шаги оказались трудными, тяжелыми.

Жизнелюбивому и чуткому художнику надо было сделать решающий шаг, чтобы влиться в великое содружество строителей нового мира. По существу он уже давно определил свое место в революции: в годы гражданской войны находился в Особом партизанском отряде имени ВЦИК; после ее окончания работал в клубах и рабочих кружках, сотрудничал в газетах, задавался вопросом, «нужна ли пролетариату» его поэзия... Но лишь полное освобождение от иллюзий и фетишей индивидуализма, способность умом и сердцем постичь то великое, что совершалось вокруг, и сказать о нем словами и образами, одному Багрицкому присущими, — только все это вместе взятое могло целиком поставить творчество поэта на службу революции, сделать его подлинно «своим» в армии ее бойцов. Именно к этому и шел Багрицкий. Глубокой, искренней была его горечь, Глубоким, искренним было и последующее преодоление «бездомности».

Несонизмеримы на первый взгляд, составляющие пятый раздел «Юго-запада» два произведения о гражданской войне: лирическое, несколько созерцательное стихотворение о голубях (1923) и насыщенная действием объемная поэма о «крестьянском сыне» Опанасе (1926). Но именно это соседство говорит о многом, позволяет определить значительность пути, пройденного поэтом за короткие четыре года.

В «Голубях» лишь капли, что стучат по крыше и скатываются по стеклу, отмечают движение годов. И закаспийский верблюжий поход, и последующие бои, уже на родной Украине, — все это только дороги, что ведут «от голубей до голубей».

Покой! И с каждым днем невятией
Травой восходит тишина,
И голуби на голубятне,
И облачная глубина...

Эта строфа, почти без изменений, повторена в начале и конце стихотворения. Сражения, битвы, перестрелки, героическое прошлое, заключенное в кольцо покойных радостей, благодетного общения с природой...

Природа действует и в «Думе про Опанаса». Но здесь она пристрастный участник драматических событий, ей предоставлен голос для оценки человеческих дел и судеб. Когда заблудившийся, сбившийся с толку, ставший бандитом Опанас свершает тяжчайшее из содеянных им преступлений — убивает своего бывшего комиссара, — на него обрушивается гнев всей округи — степи, камней и трав, птиц и зверей, а за всем этим — сама мать-Украина, сама Отчизна, проклинаящая убийцу, палача, изменника. От бывшего покая не осталось и следа: не только напряжение военных действий, но и напряжение душевное наполнило поэму, определило движение стиха.

Драматизм «Думы про Опанаса» во многом отличается от драматизма «Ночи». Там речь шла только о самочувствии самого поэта, его размоляке с окружающим. В поэме развернут конфликт большого социально-исторического смысла, лирическое начало тесно сплетено с эпическим. Поэзия подлинной народной жизни вступает в свои права, сразу же позволяя поэту расстаться с книжными героями и обратиться к реальным людям, современникам.

Как ни обаятелен смелый тираноборец Тиль, — участники тогда еще совсем недавно отгремевшей гражданской войны были куда ближе самому же поэту, гораздо глубже трогали его сердце. Он рассказал о судьбе трагической, во многом напоминающей судьбу Григория Мелехова. Опанас тоже крестьянский сын, его привело к гибели то же роковое заблуждение: он искал «третьего пути» и стал врагом революции. Багрицкий с особым волнением проследивал все этапы нествратимого падения Опанаса. Быть может, он решал при этом и очень «личный» вопрос, размышляя о пагубности эгонстической ограниченности, обреченности индивидуализма, безуспешности попыток заключить «сепаратный мир», остаться в стороне от борьбы. Стоит вспомнить, что эта жгучая проблема после окончания первой империалистической войны занимала воображение многих художников мира, что, к примеру, Эрнест Хемингуэй в «Прощай, оружие!» и «Иметь и не иметь» приходил к убеждению — «человек не может один»...

Чтобы передать напряжение степных битв и поединков, Багрицкий свел воедино метафористику героического Слова, интонации и ритмы шевченковских «Гайдамаков», сочность жанровых зарисовок, напряженность и необычность романтических пейзажей, произительную тоску элегических строк, возвышенную патетику авторских отступлений, подчеркнуто грубые, по выражению поэта, — «жлобские», «бнидожничские» речения... Все эти разнородные элементы стиха образуют целостный сплав, гибкий и многосторонний. В рассказе о роковой ошибке Опанаса, о его преступлениях и неотвратимой каре, — рассказе объективно-обстоятельном и одновременно очень личном, горячем, пристрастном, уже отчетливо звучит тема революционного гуманизма, неколебимой верности народному

делу, прочно утверждающаяся в творчестве Багрицкого последующих лет.

Поэма не сразу была оценена по достоинству. Критики, представлявшие различные литературные группировки и объединения, усматривали в поэме прежде всего воспевание бандитской вольницы, автора ее упрекали в том, что он «недораскрыл» образ Когана, увлекается «романтическими маревами» и редко «пьет из источника социально полезного героизма».

Позднее, в стихотворении «Вмешательство поэта» (1929), Багрицкий зло посмеялся над одним из таких критиков, вложив в его уста примитивные, обывательские разглагольствования, относящиеся к «Думе», к гражданской войне, к романтической поэзии. Выпад касался непосредственно представителя группы «Перевал», членом которой после своего переезда в Москву стал ненадолго поэт. Вскоре он примкнул к конструктивистам, а несколько лет спустя, вместе с Луговским выйдя из Литературного центра конструктивистов, вступил, как и Маяковский, в Российскую ассоциацию пролетарских писателей. По существу Багрицкий был всегда далек от установок, проповедовавшихся тем или иным «литературным цехом». Его натуре претил всякий догматизм, несоразмерные претензии на вездущее место в культурном строительстве, в литературе. Багрицкому были совершенно чужды самоуверенность, желание подавлять окружающих своим авторитетом, прятая собственные раздумья и сомнения. Жизнь своего ума и сердца он, не таясь, выносил в стихи, и читателя покоряло как раз это зримое движение души поэта, трудное, но настойчивое и неуклонное обретение им истины.

И со своими давними знакомцами — Тилем Уленшпигелем и Ламме — Багрицкий встретился снова именно для того, чтобы из их уст услышать осуждение своих прежних иллюзий и получить напутствие перед выходом в широкий, ничем не ограниченный, не обедненный мир. В стихотворении «Встреча» свиданье происходит в родной Одессе, на базаре, среди пицци, по-прежнему, как и в «Ночи», враждебной поэту, в присутствии столь же ненавистных ему «хозяев еды». Однако мотив, совсем недавно безысходно горестный, получает теперь другой поворот: Ламме выводит поэта к его давно потерянным друзьям, простым людям труда, которые «везде и всюду», советуют воспеть их, рассказать «о радости грядущей».

От тягостного одиночества к вдохновенному познанию и признанию нравственных принципов революции — таков лирический подтекст «Думы про Опанаса»; с еще большей определенностью это движение поэтической мысли выражено и в лирике Багрицкого. Прежде всего здесь должно назвать «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым».

Комсомолец Н. Дементьев — это молодой поэт Николай Дементьев, которого Багрицкий избирает в походные товарищи. Вместе с ним он переносится на поле сражения, чтобы там, в жестоких испытаниях, подтвердить нерушимую крепость боевой дружбы. В уста своего собеседника Багрицкий вкладывает слова, проникнутые и юношеским пренебрежением к силам и возможностям старшего поколения, и юношеской подчеркнутой трезвостью, рассудительностью

— Багрицкий, довольно!
Что за бред!...
Романтика уволена —

За выслугой лет;
Сабля — не гребенка,
Война — не спорт;
Довольно фантазировать,
Закончим спор, —
Вы — уже не юноша,
Вам ли о войне!..

Багрицкий не возражает спутнику по отдельным пунктам. Он создает свою картину событий, которая лучше всяких слов опровергает по-молодому запальчивые и бескомпромиссные суждения собеседника. Героическая гибель военкома Дементьева и военспеца Багрицкого изображена им в деталях, возвышенных и прозаических. И постепенно образ тления, конца, распада перерастает в образ возрождения, победы, утренней зари. Маршевые начальные строки, торжественная медлительность реквиема в середине стихотворения, мощная мажорность финала — эти отчетливо слышимые смены ритма подкрепляют напряженное развитие темы, властно утверждают ее. Гибелью умирающих рядом двух героев поэт подчеркивает неразрывность их судеб в жизни:

Что ж! Дорогу нашу
Враз не разубить:
Вместе есть нам кашу,
Вместе спать и пить...

Постигнув глубочайший смысл слов «вместе», «сообща», приняв его сердцем, Багрицкий и получает возможность освободиться от так мучившего его чувства бессилия.

Органичность сдвигов, происшедших в поэзии Багрицкого, особенно подчеркивается тем обстоятельством, что он не «отсекает» механически темы, ранее привлекавшие его, а переосмысливает их, наполняет новым содержанием, по-новому истолковывает. И в «Юго-западе», и в «Победителях», и в «Последней ночи» — во всех трех книгах поэта присутствует тема происхождения, тема скитальчества и одиночества, тема «хозяев еды» и борьбы с ними — с хищниками и собственниками, тема природы. Багрицкий как будто бы остается в кругу ранее созданных им образов, но какое новое, глубокое толкование они получают после преодоления поэтом внутреннего кризиса, как расширяется и светлеет мир, как стремительно и напряженно развиваются отдельные мотивы его творчества!

Конкретность, свойственная образному строю поэзии Багрицкого, особенно наглядно и выпукло подтверждала трансформацию идейных позиций поэта. В стихотворении «ТВС» он дважды рисует окружающий его мир, и эти две картины резко противостоят одна другой по своему настроению. Сперва возникает знакомый нам по «Юго-западу» образ враждебной поэту природы и такого же чуждого, душливого быта:

И сызнова мир колюч и паг:
Камни — углы, и дома — углы;
Трава до оскомины зелена,
Дороги до скрежета белы.

Под окнами тот же скопческий вид,
Тот же кошачий и детский мир,
Который удушьем ползет в крови,
Который до отвращения мил,
Чадом которого поздри, рот,
Бронхи и легкие — все полно...

Но совсем по-иному ощущает это окружение Багрицкий к концу стихотворения:

И ветер в лицо, как вода из ведра,
Как вестник победы, как снег, как стынь.
Луна лейкоцитом над кругом двора,
Звезды круглы, и круглы кусты.

Душный, колючий, остроугольный, злобный мир исчез — на его месте возник мир свежести, успокоительно-округлых линий, дружелюбия... Изменилось, точнее говоря, самочувствие поэта, а потому совсем по-другому он увидел, по-другому отнесся ко всему, что находилось в поле его зрения...

Как произошла эта чудесная и благотворная перемена? Багрицкий связывает ее с образом Ф. Э. Дзержинского. Его слова приносят разрешение, указывают путь к победе:

О мать-революция! Не легка
Трехгранная откровенность штыка;
Он вздыбился из гуницы кровей —
Матерый желудочный быт земли.
Трави его трактором. Песней бей.
Лопатой взнуздай, киркой проколи!

Так торжествующе входит в образный строй стихотворения тема революционной борьбы, тема решительного наступления сил свободного труда на матерый и косный собственнический уклад. Образ радостного созидания, образ земли, открытой вдохновенному творчеству, завершает стихотворение:

Земля, наплывающая из мглы,
Легла, как неструганая доска,
Готовая к легкой пляске пня,
К тяжелой походке молотка.

Раньше в поэзии Багрицкого рядом с лирическим героем вставали только образы, вышедшие из книг и из прошлых времен. Теперь он пишет о победителях, о реальных, сегодняшних людях. Кто они? Рядовые работники: рыбовод, ветеринар, гидрограф, шофер...

Теперь Багрицкий любуется красотой труда, смиряющего и преобразующего природу:

Я вижу, как взволнованные воды
Зажаты в тесные водопроводы,
Как захлестнула молнию струна,

а отсюда — естественный внутренний переход к образу трудового братства:

Механики, чекисты, рыбоводы.
Я ваш товарищ, мы одной породы.

Поэт все решительнее обращается к исследованию, к анализу своего прошлого, старается определить истинную социальную основу своих былых, ныне уже преодоленных иллюзий и заблуждений. В стихотворении «Происхождение» он показывает тот убогий, жалкий и до предела ограниченный «местечковый» мирок, в котором и рождались неслепые, кошмарные, чудовищные образы, в котором было «...все навыворот; все как не надо». Самые простые и добрые чувства в этом мирке изуродованы, припущены, извраще-

ны капиталистическим строем. Любовь, родительские чувства — все он испакостил и осквернил. Отсюда и рвется поэт, пренебрегая проклятьями, несущимися вдогонку, отвечая на них пренебрежительным возгласом, снова пуская в ход оружие проны: «Уйти? Уйду! Тем лучше! Наплевать!»

К теме «происхождения», разрабатывая ее еще глубже и острее, Багрицкий вернулся и в поэме «Последняя ночь», открывавшей сборник этого названия — третий и последний при жизни поэта.

В этой поэме он ведет речь о судьбе своего поколения, о тех юношах, которые были ввергнуты в империалистическую войну 1914—1918 годов в то самое время, когда они лишь начинали становиться взрослыми людьми, осмыслять свое отношение к действительности. Герой и его «двойник» — такой же мечтатель, как и он сам, вместе переживают сладостное чувство слияния со всей вселенной, вместе вбирают в свое сердце «крик журавлей и цветение трав в последнюю ночь весны». Но уже разожжен губительный огонь войны, и это хрупкое, незащищенное счастье весенней ночи больше не возвратится. Пушки заглушили свист дрозда; зарево боя поглотило блеск звезд. Дым и туман сражений встали над бескрайними просторами, и в этом пламени несправедливой войны беспечно сгорают тысячи жизней.

Мы плакали над телами друзей;
Любовь погребали мы:
Погибших товарищей имена,
Доселе не сходят с губ...

Но мы — мы живы и верялка!
Осыпался, отболев,
Скарлатинозною шелухой
Мир, окружавший нас.

Да, из горнила испытаний поэт и те, от имени которых он говорит, вышли закаленными, возмужавшими, преодолевшими былые иллюзии. Октябрьская революция дала новое направление их судьбам, отбросив пассивное и слабое прекрасодушие, они приобрели волю, выдержку, твердость борцов за правое дело.

Вторая из трех поэм, составляющих книгу «Последняя ночь», — «Человек предместья» — также развивает тему, о которой нам уже не раз приходилось говорить. Здесь снова появляется враг поэта — мещанин, собственник. Раньше он назывался «хозяином сды» и был фигурой зловеней, угрожающей, но не очень ясной. Теперь эта условность отброшена — поэт спокойно и внимательно прослеживает все этапы постепенного обогащения мелкого, но зловредного хищника и вместе с тем, точно определяет самую суть этих корыстных стяжательских поползновений:

Вот так бы нацелиться — и с палета
Приклоннуть рукой, коленом прижать...
До скрежета, до ледяного пота,
Стараться схватить, обломать, сдержаты!

Багрицкий не только оценивает, характеризует «человка предместья», но и непосредственно входит в поэму, становится в ней активно действующим лицом. Он — сосед мещанина и враг его. Сталкиваясь со своим противником, он на мгновение испытывает прежнее чувство одиночества и тревоги, но теперь только на мгно-

вень! Стоило ему лишь вздохнуть — «...как я одинок. Отзовитесь, где вы, веселые люди моих стихов?» — и тотчас же его герон встали рядом с ним, в едином боевом строю:

Прошедшие с боем леса и воды,
Всем ливням подставившие лицо,
Чекисты, механики, рыбоводы —

дружная и грозная для врагов, когорта работников. Перед ними, перед несотвратимым движением времени — оно заодно, вместе с людьми труда и против собственников! — бессилен человек предместья. Он побежден, и в числе его победителей — поэт, когда-то терявшийся перед ним и считавший себя одиноким, но теперь твердо определивший свое место в рабочем строю.

Особенно прозрачна и ясна третья поэма сборника — «Смерть пионерки». Идейно она прочно связана с двумя другими, но вместе с тем существенно отличается от них.

Уже в «Человеке предместья» шла речь о его дочери, «в углостом пионерском галстук», подымающей «голос выше берез, выше туч», а в «Смерти пионерки» такая же девочка является главной героиней поэмы. Мать умирающей Вали говорит ей «постылые, скудные слова» о накопленных платях и мехах... Вновь речь идет о борьбе двух взглядов на жизнь, двух нравственных принципов: отступающего, косного, старого — и торжествующего, нового, юного. Но в «Смерти пионерки» все внимание поэта отдано утверждению молодой, благородной советской морали. Никогда еще среди «работников страны», воспетых Багрицким, не появлялся такой юный, неоперившийся герой, лишь только готовящийся вступить в жизнь! Но и никогда еще до той поры поэт не передавал обаяние новой человечности с такой полнотою и наглядностью, как ему это удалось в «Смерти пионерки». В предсмертном салюте Вали, в той решительности, с которой она отвергает все искушения мещанского быта, поэт увидел великий подвиг и подлинное мужество. Это и дало ему право сразу же, стремительно ввести в стихотворение широкий, прекрасный мир революционной борьбы, к которому принадлежит Валя и от которого ее никому никогда не оторвать. С нею и ее товарищи — пионеры и закаленные, отважные участники грозных боев, рсшавших судьбы народов:

Пусть звучат постылые,
Скудные слова —
Не погибла молодость,
Молодость жива!

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.

Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас.

Но в крови горячешой
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы.

Революционное мужество — бессмертно. Оно живет в отрядах, что движутся «на вечерний сбор», в красном «базовом знамени»,

что «вьется над бугром». И ему присягает Валя, из последних сил поднимая над больничной койкой свою легкую тонкую руку. Раздвигаются рамки стиха — рассказ о большой девочке вырастает в песню о новом, социалистическом человеке.

Как видим, ясность идейных позиций укрепила мастерство Багрицкого. В «Последней ночи» он писал: «И слово, с которым мы боролись всю жизнь, — оно теперь подвластно нашей руке». Поэт имел все основания для такого утверждения. Приводя в движение всю своеобразную, обобщающую и красочную силу поэтического слова, сообщая ему лирическую проникновенность, Багрицкий теперь добивался эпической широты и аналитической точности изображения.

Эдуард Багрицкий умер 16 февраля 1934 года, — умер рано, в расцвете творческих сил. До этого он несколько лет тяжело болел и часто был прикован к постели. Но тяжелый недуг не мешал поэту глубоко чувствовать красоту новой жизни и остроту борьбы со старым укладом, отживающим, но тем упорнее сопротивляющимся.

Багрицкий жил в переломные годы. Он сам испытал мерзости капиталистического строя и возненавидел их. Он был современником строителей социализма и отдал им всю «свою звонкую силу поэта», как это сделал Маяковский и другие художники слова советской страны. Вот почему в его стихах и поэмах так напряженно переплетаются радость и ненависть, любовь и гнев.

Багрицкий был чутким и взыскательным учителем молодого поколения. Не один из советских поэтов благодарен ему за помощь и совет. В 1929 году на страницах журнала «Октябрь», в разделе «Записки писателя», Багрицкий сказал о том, каким, по его мнению, должен быть поэтический труд: «Сейчас вырабатывается новый тип поэта — поэта-ученого, поэта-общественника. Наша общественность должна прийти на помощь для выработки такого типа. Она должна как можно теснее связать поэта с производством, направлять его в экспедиции, вводить его в клиники и лаборатории. Мы, поэты, должны биться за первенство своего искусства. Мы должны в корне перестроить мнение о поэте-богемце. От нас должна начаться новая традиция».

Новую традицию — традицию крепкой связи с жизнью, действительного участия в ней поэтическим словом — Багрицкий утверждал в своем стихе. Творчество его проникнуто страстным жизнелюбием, оно будит мужество и отвагу, весомо и зримо раскрывая поэзию революционной борьбы.

Николай Тихонов говорил на Первом Всесоюзном съезде советских писателей: «Багрицкий раскрывал своим жарким простым стихом, лишенным многих условных упрощений, всю глубину волнения, таящегося в гражданской теме». Жар поэзии Багрицкого не остывает. Сильно и страстно звучат его строки сегодня, и так же они будут звучать для новых поколений, вступивших в жизнь.

И. Гринберг.

СТИХИ И ПОЭМЫ

Птицелов

Трудно дело птицелова:
Заучи повадки птичьи,
Помни время перелетов,
Разным посвистом свисти.

Но, шатаясь по дорогам,
Под заборами ночуя,
Дидель весел, Дидель может
Песни петь и птиц ловить.

В бузине, сырой и круглой,
Соловей ударил дудкой,
На сосне звенят синицы,
На березе зяблик бьет.

И вытаскивает Дидель
Из котомки заповедной
Три манка — и каждой птице
Посвящает он манок.

Дунет он в манок бузинный,
И звенит манок бузинный, —
Из бузинного прикрытья
Отвечает соловей.

Дунет он в манок сосновый,
И свистит манок сосновый, —
На сосне в ответ синицы
Рассыпают бубенцы.

И вытаскивает Дидель
Из котомки заповедной
Самый легкий, самый звонкий
Свой березовый манок.

Он лады проверит нежно,
Щель певучую продует, —
Громким голосом береза
Под дыханьем запоет.

И, заслышав этот голос,
Голос дерева и птицы,
На березе придорожной
Зяблик загремит в ответ.

За проселочной дорогой,
Где затих тележный грохот,
Над прудом, покрытым ряской,
Дидель сети разложил.

И пред ним — зеленый снизу,
Голубой и синий сверху —
Мир встает огромной птицей,
Свищет, щелкает, звенит.

Так идет веселый Дидель
С палкой, птицей и котомкой
Через Гарц, поросший лесом,
Вдоль по рейнским берегам.

По Тюрингии дубовой,
По Саксонии сосновой,
По Вестфалии бузинной,
По Баварии хмельной.

Марта, Марта, надо ль плакать,
Если Дидель ходит в поле,
Если Дидель свищет птицам
И смеется невзначай?

1918

Песня о рубашке

(Томас Гуд)

От песни, от скользкого пота —
В глазах растекается мгла.
Работай, работай, работай
Пчелой, заполняющей соты,
Покуда из пальцев с налета
Не выпрыгнет рыбкой игла!..

Швея! Этой ниткой суровой
Прошито твоё бытие...
У лампы твоей бестолковой
Поет вдохновенье твое,
И в щели проклятого крова
Невидимый месяц течет.

Швея! Отвечай мне, что может
Сравниться с дорогой твоей?..
И хлеб ежедневно дороже,
И голод постылый тревожит,
Гниет одинокое ложе
Под стужей осенних дождей.

Над белой рубашкой склоняясь,
Ты легкою водишь иглой, —
Стежков разлетается стая
Под бледной, как месяц, рукой.
Меж тем как, стекло потрясая,
Норд-ост заливается злой.

Опять воротник и манжеты,
Манжеты и вновь воротник...
От капли чадающего света
Глаза твои влагой одеты...
Опять воротник и манжеты,
Манжеты и вновь воротник...

О вы, не узнавшие страха
Бездомных осенних ночей!
На ваших плечах — не рубаха,
А голод и пение швей,
Дни, полные ветра и праха,
Да темень осенних дождей!

Швея! Ты не помнишь свободы,
Склонясь над убогим столом,
Не помнишь, как громкие воды
За солнцем идут напролом,
Как в пламени ясной погоды
Касатка играет крылом.

Стежки за стежками, без счета,
Где нитка тропой залегла;
«Работай, работай, работай, —
Поет, пролетая, игла, —
Чтоб капля последнего пота
На бледные щеки легла!..»

Швея! Ты не знаешь дороги,
Не знаешь любви наяву,
Как топчут веселье ноги
Весеннюю эту траву...
...Над кровлею — месяц убогий,
За ставнями ветры ревут...

Швея! За твоёю спиною
Лишь сумрак шумит дождевой, —
Ты медленно бледной рукою

Сшиваешь себе для покоя
Холстину, что сложена вдвое,
Рубашку для тьмы гробовой...

Работай, работай, работай,
Покуда погода светла,
Покуда стежками без счета
Играет, летая, игла.
Работай, работай, работай,
Покуда не умерла!..

1923

Джон Ячменное Зерно

(Р. Бернс)

Три короля из трех сторон
Решили заодно:
— Ты должен сгинуть, юный Джон
Ячменное Зерно!

Погибни, Джон, — в дыму, в пыли,
Твоя судьба темна!
И вот взрывают короли
Могилу для зерна...

Весенний дождь стучит в окно
В апрельском гуле гроз, —
И Джон Ячменное Зерно
Сквозь перегной пророс...

Весенним солнцем обожжен
Набухший перегной, —
И по ветру мотает Джон
Усатой головой...

Но душой осени дано
Свой выполнить урок, —
И Джон Ячменное Зерно
От груза занемог...

Он ржавчиной покрыт сухой,
Он — в полевой пыли...
— Теперь мы справимся с тобой! —
Ликут короли...

Косою звонкой срезан он,
Сбит с ног, повергнут в прах,
И, скрученный веревкой, Джон
Трясется на возах...

Его цепами стали бить,
Кидали вверх и вниз, —
И чтоб вернее погубить,
Подошвами прошлись...

Он в ямше с водой — и вот
Пошел на дно, на дно...
Теперь, конечно, пропадет
Ячменное Зерно!..

И плоть его сожгли сперва,
И дымом стала плоть.
И закружились жернова,
Чтоб сердце размолоть...

• • • • •

Готовьте благородный сок!
Ободьями скреплен
Бочонок, сбитый из досок, —
И в нем бунтует Джон...

Три короля из трех сторон
Собрались заодно, —
Пред ними в кружке ходит Джон
Ячменное Зерно...

Он брызжет силой дрожжевой,
Клокочет и поет,

Он ходит в чаше круговой,
Он пену на пол льст...

Пусть не осталось ничего
И твой развеян прах,
Но кровь из сердца твоего
Живет в людских сердцах!..

Кто, горьким хмелем упоен,
Увидел в чаше дно —
Кричи:
--- Вовек прославлен Джон
Ячменное Зерно!

1923

Разбойник

(В. Скотт)

Брэнгельских рощ
Прохладна тень,
Незыблем сон лесной;
Здесь тьма и лень,
Здесь полон день
Весной и тишиной...

Над лесом
Снизилась луна,
Мой борзый конь храпит...
Там замок встал,
И у окна
Над рукоделнем,
Бледна,
Красавица сидит...

Тебе, владычица лесов,
Бойниц и амбразур,
Веселый гимн
Пропеть готов
Бродячий трубадур...

Мой конь,
Обрызганный росой,
Играет и храпит,

Мое поместье
Под луной,
Ночной повито тишиной,
В горячих травах спит...

В седле
Есть место для двоих,
Надежны стремяна!
Взгляни, как лес
Курчав и тих,
Как снизилась луна!

Она пост:
— Прохладна тень,
И ясен сон лесной...
Здесь тьма и лень,
Здесь полон день
Весной и тишиной...

О, счастье — прах,
И гибель — прах,
Но мой закон — любить,
И я хочу
В лесах,
В лесах
Вдвоем с Эдвином жить...

От графской свиты
Ты отстал,
Ты жаждою томим;
Охотничий блестит книжал
За поясом твоим,
И соколиное перо
В почи
Горит огнем, —
Я вижу
Графское тавро
На скакуне твоём!..

— Увы! Я графов не видал
И род
Не графский мой!
Я их поместья поджигал

Полуночной порой!..
Мое владенье —
Вдаль и вширь
В ночных лесах лежит,
Над ним кружится
Истопырь,
И в нем
Сова кричит...

Она поет:
— Прохладна тень,
И ясен сон лесной..
Здесь тьма и лень,
Здесь полон день
Весной и тишиной!..

О, счастье — прах,
И гибель — прах,
Но мой закон любить...
И я хочу
В лесах,
В лесах
Едвоем с Эдвином жить!..

Веселый всадник,
Твой скакун
Храпит под чепраком.
Теперь я знаю:
Ты — драгун
И мчишься за полком...

Недаром скроен
Твой паряд
Из тканей дорогих
И шпоры длинные горят
На сапогах твоих!..

— Увы! Драгуном не был я,
Мне чужд солдатский строй:
Казарма вольная моя —
Сырой простор лесной...

Я песням у дроздов учусь
В передарассветный час,

В боярышник лисицей мчусь —
От вражьих скрыться глаз...

И труд необычайный мой
Меня к закату ждет,
И необычная за мной
В тумане смерть придет...
Мы часа ждем
В ночи, в почи,
И вот —
В лесах,
В лесах
Коней седлаем,
И мечи
Мы точим на камнях...

Мы знаем
Тысячи дорог,
Мы слышим
Гром копыт,
С дороги каждой
Грянет рог —
И громом пролетит...

Где пуля запоет в кустах,
Где легкий меч сверкнет,
Где жаркий заклубится прах,
Где верный конь заржет...

И листья
Плещутся, дрожа,
И птичий
Молкнет гам,
И убегают сторожа,
Открыв дорогу нам...

И мы несемся
Вдаль и вширь,
Под лязганье копыт;
Над нами реет
Нетопырь,
И вслед
Сова кричит...

И нам не страшен
Дьявол сам,
Когда пред черным днем
Он молча
Бродит по лесам
С коптящим фонарем...

И графство задрожит, когда,
Лесной взметая прах,
Из лесу вылетит беда
На взмыленных конях...

Мой конь,
Обрызганный росой,
Играет и храпит,
Мое поместье
Под луной,
Ночной повито тишиной,
В горячих травах спит...

В седле есть место
Для двоих,
Надежны стремяна!
Взгляни, как лес
Курчав и тих,
Как снизилась луна!

Она поет:
— Брэнгельских рош
Что может быть милей?
Там по ветвям
Стекает дождь,
Там прядает ручей!

О, счастье — прах,
И гибель — прах,
Но мой закон — любить...
И я хочу
В лесах,
В лесах
Вдвоем с Эдвином жить!..

Тиль Уленшпигель

Монолог

Отец мой умер на костре, а мать
Сошла с ума от пытки. И с тех пор
Родимый Дамме я в слезах покинул.
Священный пепел я собрал с костра,
Зашил в ладанку и на грудь повесил, —
Пусть он стучится в грудь мою и стуком
К отмщению и гибели зовет!
Широк мой путь: от Дамме до Остенде,
К Антверпену от Брюсселя и Льежа.
Я с толстым Ламме на ослах плетусь.
Я всем знаком: бродяге-птицелову,
Несущему на рынок свой улов;
Трактирщица с улыбкой мне выносит
Кипящее и золотое пиво
С горячею и нежной ветчиной;
На ярмарках я распеваю песни
О Фландрии и о Брабанте старом,
И добрые фламандцы чувят в сердце,
Давно заплывшем жиром и привыкшем
Мечтать о пиве и душистом супе,
Дух вольности и гордости родной.
Я — Уленшпигель. Нет такой деревни,
Где б не был я; нет города такого,
Чьи площади не слышали б меня.
И пепел Клааса стучится в сердце,
И в меру стуку этому протяжно
Я распеваю песни. И фламандец
В них слышит ход медлительных каналов,

Где тишина, и лебеди, и баржи,
И очага веселый огонек
Трещит пред ним, и он припоминает
Часы довольства, тишины и пегги,
Когда, устав от трудового дня,
Вдыхая запах пива и жаркого,
Он погружается в покой ленивый.
И я пою: «Эй, мясники, довольно
Колоть быков и поросят! Иная
Вас ждет добыча. Пусть ваш нож вонзится
В иных животных. Пусть иная кровь
Окрасит ваши стойки. Заколите
Монахов и развесьте вверх ногами
Над лавками, как колотых свиней».
И я пою: «Эй, кузнецы, довольно
Ковать коней и починять кастрюли,
Мечи и наконечники для копий
Пригодны нам поболее подков,
Залейте глотку плавленным свинцом
Монахам, краснощеким и пузатым,
Он более придется им по вкусу,
Чем херес и бургундское вино.
Эй, корабельщики, довольно барок
Построено для перевозки пива!
Вы из досок еловых и сосновых
Со скрепами из чугуна и стали
Корабль освобождения постройте!
Фламандки вам соткут для парусов
Из самых тонких нитей полотна,
И, словно бык, готовящийся к бою
Со стаей разъярившихся волков,
Он выйдет в море, пушки по бортам
Направив на бунтующийся берег».
И пепел Клааса стучится в сердце,
И сердце разрывается, и песня
Гремит грозней. Уж не хватает духа,
Клубок горячий к языку подходит, —
И не пою я, а кричу как ястреб:
«Солдаты Фландрии, давно ли вы
Коней своих забыли, оседлавши
Взамен их скамьи в кабаках? Довольно
Кинжалами раскалывать орехи
И шпорами почесывать затылки,

Дыша вином у непотребных девок!
Стучат мечи, пылают города.
Готовьтесь к бою! Грянул страшный час,
И кто на посвист жаворонка вам
Ответит криком петуха, тот — с нами.

Герцог Альба!

Боец

Твой близкий конец пророчит;
Созрела жатва, и жнец
Свой серп о подошву точит.
Слезы сирот и вдов,
Что из мертвых очей струятся,
На чашку страшных весов
Тяжким свинцом ложатся.
Меч — это наш оплот,
Дух на него уповает.
Жаворонок поет,
И петух ему отвечает.

Арбуз

Свежак надрывается. Прет на рожон
Азовского моря корыто.
Арбуз на арбузе — и трюм нагружен,
Арбузами пристань покрыта.

Не пить первача в дорассветную стыдь,
На скучном зевать карауле,
Три дня и три ночи придется проплыть —
И мы паруса развернули...

В густой бородач ударяет бурун,
Чтоб брызгами вдрызг разлететься,
Я выберу звонкий, как бубен, кавун—
И ножником вырежу сердце...

Пустынное солнце садится в рассол,
И выпихнут месяц волнами...
Свежак задувает!
Наотмашь!
Пошел!
Дубок, шевели парусами!

Густыми барашками море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно...

В два пальца, по-боцмански, ветер свистит,
И тучи сколочены плотно.
И ерзает руль, и обшивка трещит,
И забраны в рифы полотна,

Сквозь волны — навывлет!
Сквозь дождь — наугад!
В свистящем гонимые мыле,
Мы рыщем на ощупь...
Навзрыд и не в лад
Храпят полотняные крылья. .

Мы втянуты в дикую карусель.
И море топочет, как рынок,
На мель нас кидает,
Нас гонит на мель
Последняя наша путина!

Козлами кудлатыми море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно...

Я песни последней еще не сложил,
А смертную чую прохладу...
Я в карты играл, я бродягою жил,
И море приносит награду, —
Мне жизни веселой теперь не сберець —
И руль оторвало, и в кузове течь!

Пустынное солнце над морем встает,
Чтоб воздуху таять и греться;
Не видно дубка, и по волнам плывет
Кавун с нарисованным сердцем...
В густой бородач ударяет бурун,
Скумбрийная стая играет,
Низовый па зыби качает кавун —
И к берегу он подплывает...
Конец путешествию здесь он найдет,
Окончены ветер и качка, —
Кавун с нарисованным сердцем берет
Любимая мною казачка...

И некому здесь надоумить ее,
Что в руки взяла она сердце мое!..

Ночь

Уже окончился день, и ночь
Надвигается из-за крыш...
Сапожник откладывает башмак,
Вколотив последний гвоздь.
Неизвестные пьяницы в пивных
Проклинают, поют, хрипят,
Склерозными раками, желчью пивной
Заканчивая день...
Торговец, расталкивая жену,
Окунается в душный пух,
Свой символ веры — ночной горшок —
Задвигая под кровать...
Москва встречает десятый час
Перезваниванием проводов,
Свиданьями кошек за трубой,
Началом ночной возни...
И вот, надвинув кепи на лоб
И фотогеничный рот
Дырявым шарфом обмотав,
Идет на промысел вор...
И, ундервудов траурный марш
Покинув до утра,
Конфетные барышни спешат
Встречать героев кино.
Антенны подрагивают в ночи
От холода чуждых слов;
На циферблате десятый час
Отмечен косым углом...
Над столом вождя — телефон иссияк,
И зеленое сукно,

Как болото, всасывает в себя
Пресс-папье и карандаши...
И только мне десятый час
Ничего не приносит в дар:
Ни чая, пахнущего женой,
Ни пачки папирос;
И только мне в десятом часу
Не назначено нигде —
Во тьме подворотни, под фонарем —
Заслышать милый каблук...
А сон обволакивает лицо
Оренбургским густым платком;
А ночь насыпает в мои глаза
Голубиных созвездий пух;
И прямо из прорвы плывет, плывет
Витрин воспаленный строй:
Чудовищной пищей пылает ночь,
Стеклянной наледью блюд...
Там всходит огромная ветчина,
Пунцовая, как закат,
И перистым облаком влажный жир
Ее обволок вокруг.
Там яблок румяные кулаки
Вылазят вон из корзиц;
Там ядра апельсина полны
Взрывчатой кислотой.
Там рыб чешуйчатые мечи
Пылают: «Не заплати!
Мы голову — прочь, мы руки — долой!
И кинем голодным псам!..»
Там круглые торты стоят Москвой,
В кремлях леденцов и слив;
Там тысячу тысяч пирожков,
Румяных, как детский сад,
Осыпала сахарная пурга,
Истыкал цукатный дождь...
А в дверь ненароком: стоит атлет
Средь синне-багровых туш!
Погибшая кровь быков и телят
Цветет на его щеках...
Он вытянет руку — весы не влад
Качнутся под тягой гирь,
И нож, разрезающий сала пласт,

Летит павлиньим пером.
И пылкие буквы
«МСПО»
Расцветают сами собой
Над этой оголтелой жратвой
(Грычи, желудочный сок!)...
И голод сжимает скулы мои,
И зудом поет в зубах,
И мыльной мышью по горлу вниз
Падают в пищевод...
И я содрогаюсь от скрипа когтей,
От мышей возни — хвоста,
От медного запаха слюны,
Заливающего гортань...
И в мире остались — одни, одни,
Одни, как поход планет. —
Ворота и обручи медных букв,
Начищенные огнем!
Четыре буквы:
«МСПО».
Четыре куска огня:
Это —
Мир Страстей, Пыхай Огнем!
Это —
Музыка Сфер, Парн
Откровенном новым!
Это — Мечта,
Сладострастье, Покой, Обман!
И на что мне язык, умевший слова
Ощущать, как плодовой сок?
И на что мне глаза, которым дано
Удивляться каждой звезде?
И на что мне божественный слух совы
Различающий крови звоп?
И на что мне сердце, стучащее в лад
Шагам и стихам моим?!
Лишь поет нишета у моих дверей,
Лишь в печурке юлит огонь,
Лишь исякла свеча — и луна плывет
В замерзающем стекле...

Голуби

Весна. И с каждым днем невятной
Травой восходит тишина,
И голуби на голубятне,
И облачная глубина.

Пора! Полощет плат крылатый —
И разом улетают в гарь
Сизоголовый, и хохлатый,
И взмывший веером почтарь.

О голубиная охота,
Уже воркующей толпой
Воскрылий, пуха и помета
Развеян вихрь над головой!

Двадцатый год! Но мало, мало
Любви и славы за спиной.
Лишь двадцать капель простучало
О подоконник жестяной.

Лишь голуби да голубая
Вода. И мол. И волнолом.
Лишь сердце, тишину встречая,
Все чаще ходит ходуном...

Гудит година путевая,
Вагоны, ветер полевой.
Страда распахнута другая,
Страна иная предо мной!

Через Ростов, через станции,
Через Баку, в чаду, в пыли, —
Навстречу Каспий, и дымится
За черной солью Энзели.

И мы на вражеские части
Верблюжий повели поход.
Навыорот летело счастье,
Навыорот, наоборот!

Колес и кухонь гул чугунный
Нас провожал из боя в бой,
Через малярские лагуны,
Под малярскую луной.

Обозы врозь, и мулы — в мыле,
И в прахе гор, в песке равнин,
Обстрелянные, мы вступили
В тебя, наказанный Казвин!

Близ углового поворота
Я поднял голову — и вот
Воскрытый, пуха и помета
Рассеявшийся вихрь плывет!

На плоской крыше плат крылатый
Полощет — и взлетают в гарь
Сизоголовый, и хохлатый,
И взмывший веером почтарь!

Два года боя. Не услышал,
Как месяцы ушли во мглу:
Две капли стукнули о крышу
И покатались по стеклу...

Через Баку, через станции,
Через Ростов — назад, назад,
Туда, где Знаменка дымится
И пышет Елисаветград!

Гляжу: на дальнем повороте —
Ворота, сад и сеновал;
Там в топоте и конском поте
Косматый всадник проскакал.

Гони! Через дубняк дремучий,
Вброд или вплавь, гони вперед!
Взвьется шашка — и певучий,
Скрутившись, провод упадет...

И вот столбы глухонемые
Нутром не стонут, не поют,
Гляжу: через поля пустые
Тачанки ноют и ползут...

Гляжу: близ Елисаветграда,
Где в суходоле будяки,
Среди скота, котлов и чада
Лежат верблюжские полки.

И ночь и сон. Но будет время —
Убудет ночь, и сон уйдет.
Загикает с тачанки в темень
И захлебнется пулемет...

И шива прахом пропылится,
И пули запоют впотьмах,
И конница по ржам помчится —
Рубить и ржать. И мы во ржах.

И вот станицей журавлиной
Летим туда, где в рельсах лег,
В певучей стае тополиной,
Вишневым город меж дорог.

Полощут кумачом ворота,
И разом с крыши угловой
Воскрылий, пуха и помета
Развеян вихрь над головой.

Опять полощет плат крылатый —
И разом улетают в гарь
Сизоголовый, и хохлатый,
И взмывший веером почтарь!

И снова год. Я не услышал,
Как месяцы ушли во мглу,
Лишь капля стукнула о крышу
И покатила по стеклу...

Покой! И с каждым днем невнятной
Травой восходит тишина,
И голуби на голубятне,
И облачная глубина...

Не попусту топтались ноги
Через рокот рек, чрез пыль полей,
Через овраги и пороги —
От голубей до голубей!

1923

Дума про Опанаса

Посіяли гайдамаки
В Україні жито,
Та не вони його жали.
Що мусим робити?

Т. Шевченко («Гайдамаки»).

I

По откосам виноградник
Хлопочет листвою,
Где бежит Панько из Балты
Дорогой степною.
Репухи кусают ногу,
Свищет житом пажить,
Звездный Воз ему дорогу
Оглоблями кажет.
Звездный Воз дорогу кажет
В поднебесье чистом —
На дебелие хозяйства
К немцам-колоннстам.
Опанасе, не дай маху,
Оглядишь толково —
Видишь черную папаху
У сторожевого?
Знать от совести печистой
Ты бежал из Балты,
Топал к Штолю-колоннсту,
А к Махне попал ты!
У Махна по самы плечи
Волосня густая:

— Ты откуда, человече,
Из какого края?
В нашу армию попал ты
Волей иль неволей?
— Я, батько, бежал из Балты
К колонисту Штолю.
Ой, грызет меня досада,
Крепкая обида!
Я бежал из продотряда
От Когана-жида...
По оврагам и по скатам
Коган волком рыщет,
Залезает носом в хаты,
Которые чище!
Глянет влево, глянет вправо,
Засопит сердито:
«Выгребайте из канавы
Спрятанное жито!»
Ну, а кто подымет бучу —
Не шуми, братишка:
Усом в мусорную кучу,
Расстрелять — и крышка!
Чернозем потек болотом
От крови и пота, —
Не хочу махать винтовкой,
Хочу на работу!
Ой, батько, скажи на милость
Пришедшему с поля,
Где хозяйство поместилось
Колониста Штоля?
— Штоль? Который, человече?
Рыжий да щербатый?
Он застрелен недалече,
За углом от хаты...
А тебе дорога вышла
Бедовать со мною.
Повернешь обратно дышло —
Пулей рот закрою!
Дайте шубу Опанасу
Сукна городского!
Поднесите Опанасу
Вина молодого!

Сапоги подколотите
Кованым железом!
Дайте шапку, наградите
Бомбой и обрезом!
Мы пойдем с тобой далече —
От края до края!.. —
У Махна по самы плечи
Волосня густая...

.
Опанасе, наша доля
Машет саблей ныне, —
Зашумело Гуляй-Поле
По всей Украине.
Украина! Мать родная!
Жито молодое!
Опанасу доля вышла
Бедовать с Махною.
Украина! Мать родная!
Молодое жито!
Шли мы раньше в запорожцы,
А теперь — в бандиты!

II

Зашумело Гуляй-Поле
От страшного пляса —
Ходит гоголем по воле
Скакун Опанаса.
Опанас глядит картиной
В папахе косматой,
Шуба с мертвого равнина
Под Гомелем снята.
Шуба — платье меховое —
Распахнута — жарко!
Френч английского покроя
Добыт за Вапняркой.
На руке с нагайкой крепкой
Жеребьячье мыло;
Револьвер висит на цепке
От паникадила.
Опанасе, наша доля
Туманом повита, —

Хлеборобом хочешь в поле,
А идешь — бандитом!
Полетишь дорогой чистой,
Залетишь в ворота,
Бить жидов и коммунистов —
Легкая работа!
А Махно спешит в тумане
По шляхам просторным,
В монастырском шарабане,
Под знаменем черным.
Стопом стонет Гуляй-Поле
От страшного пляса —
Ходит гоголем по воле
Скакун Опанаса...

III

Хлеба собрано немного —
Не скрипеть подводам.
В хате ужинает Коган
Житняком и медом.
В хате ужинает Коган,
Молоко хлебает,
Большевицким разговором
Мужиков смущает:
— Я прошу ответить честно,
Прямо, без уклона:
Сколько в волости окрестной
Варят самогона?
Что посевы? Как налоги?
Падают ли овцы? —
В это время по дороге
Топают махновцы...
По дороге пляшут кони,
В землю бьют копыта.
Опанас из-под ладони
Озирает жито.
Полночь сизая, степная
Встала пред бойцами,
Издалека темь ночная
Тлеет каганцами.
Брешут псы сторожевые,
Запевают певни.

Холодком передовые
Въехали в деревню.
За церковною оградой
Лязгнуло железо:
— Не разыщешь продотряда:
В доску перерезан! —
Хуторские псы, пляшите
На гремучей стали:
Словно перепела в жите,
Когана поймали.
Повели его дорогой
Сизою, степною, —
Встретился Иосиф Коган
С Нестером Махию!
Поглядел Махию сурово,
Покачал башкою,
Не сказал Махию ни слова,
А махнул рукою!
Ой, дожил Иосиф Коган
До смертного часа,
Коль сошлась его дорога
С путем Опанаса!..
Опанас отставил ногу,
Стоит и гордится:
— Здравствуйте, товарищ Коган,
Пожалуйте бриться!

IV

Тополей седая стая,
Воздух тополиный..
Украина, мать родная,
Песня-Украина!..
На твоём степном раздолье
Сыромаха скачет,
Свищет перекати-поле
Да ворона кричит..
Всходит солнце боевое
Над степной дорогой,
На дороге нынче двое —
Опанас и Коган.
Над пылающим порогом
Зной дымит и тает;

Комиссар, товарищ Коган,
Барахло скидает...
Растеклось на белом теле
Солнце молодое.
— На, Пацько. Когда застрелишь,
Возьмешь остальное!
Пары брюк не пожалею,
Пригодятся дома, —
Все же бывший продармеец,
Хороший знакомый!.. —
Всходит солнце боевое,
Кукурузу сушит,
В кукурузе ветер воет
Опанасу в уши:
— За волами шел когда-то,
Воевал солдатом...
Ты ли в сахарное утро
В степь выходишь катом? —
И раскинутая в плясе
Голосит округа:
— Опанасе! Опанасе!
Катюга! Катюга! —
Верещит бездомный копец
Под облаком белым:
— С безоружным биться, хлопец,
Последнее дело! —
И равнина волком воет —
От Днестра до Буга,
Зверем, камнем и травой:
— Катюга! Катюга!.. —
Не гляди же, солнце злое,
Опанасу в очи:
Он грустит, как с перепоя,
Убивать не хочет...
То ль от зноя, то ль от стога
Подошла усталость,
Повернулся:
— Три патрона
В обойме осталось...
Кровь — постылая обуза
Мужицкому сыну...
Утекай же в кукурузу —
Я выстрелю в спину!

Не свалю тебя ударом,
Разгуливай с богом!.. —
Поправляет окуляры,
Улыбаясь, Коган:
— Опанас, работай чисто,
Мушкой не моргая.
Неудобно коммунисту
Бегать, как борзая!
Прямо кинешься — в тумане
Омуты речные,
Вправо — немцы-хуторяне,
Влево — часовые!
Лучше я погибну в поле
От пули бесчестной!..

Тишина в степном раздолье, —
Только выстрел треснул,
Только Коган дрогнул слабо,
Только ахнул Коган,
Начал сваливаться на бок,
Падать понемногу...
От железного удара
Над бровями сгусток,
Поглядишь за окуляры:
Холодно и пусто...
С Черноморья по дорогам
Пыль несется плясом,
Носом в пыль зарылся Коган
Перед Опанасом...

V

Где широкая дорога,
Вольный плес днестровский,
Кличет у Попова лога
Командир Котовский.
Он долину озирает
Командирским взглядом,
Жеребец под ним сверкает
Белым рафинадом.
Жеребец подымет ногу,
Опустит другую,

Будто пробует дорогу,
Дорогу степную.
А по каменному склону
Из Попова лога
Вылетают эскадроны
Прямо на дорогу...
От приварка рожки гладки,
Поступь удалая,
Амуниция в порядке,
Как при Николае.
Головами крутят кони,
Хвост по ветру стелют:
За Махной идет погоня
Аккурат неделю.

.

Не шумит над берегами
Молодое жито, —
За чумацкими возами
Прячутся бандиты.
Там, за жбаном самогона,
В палатке дерюжной,
С атаманом забубенным
Толкует бунчужный:
— Надобно с большевиками
Нам принять сраженье, —
Покрутись перед полками,
Дай распоряженье!.. —
Как батько с размаху двинул
По столу рукою,
Как батько с размаху грянул
По земле ногою:
— Ну-ка, выдай перед боем
Пожирнее пищу,
Ну-ка, выбей перед боем
Ты из бочек днища!
Чтобы руки к пулеметам
Сами прикипели,
Чтобы хлопцы из-под шапок
Коршуньем глядели!
Чтобы порох задымился
Над водой днестровской,

Чтобы с горя удавился
Командир Котовский!..

• • • • •
Прыщут стрелами зарницы,
Мгла ползет в ухабы,
Брежут рыжие лисицы
На чумацкий табор.
За широким ревом бычьим —
Смутно изголовье,
Див сулит полночным кличем
Гибель Приднестровью.
А за темными возами,
За чумацкой сонью,
За ковыльными чубами,
За крылом вороньим, —
Омываясь горькой тенью,
Встало над землею
Солнце нового сраженья —
Солнце боевое...

VI

Ну, и взялися ладони
За сабли кривые,
На дыбы взлетают кони,
Как вихри степные.
Кони стелются в разбеге
С дорогою вровень —
На чумацкие телеги,
На морды воловьи.
Ходит ветер над возами,
Широкий, бойцовский,
Казакует пред бойцами
Григорий Котовский...
Над конем играет шашка
Проливную силой,
Сбита красная фуражка
На бритый затылок.
В лад подрагивают плечи
От конского пляса...
Вырывается навстречу
Гривун Опанаса.

— Налетай, конек мой дикий,
Копытами двигай,
Саблей, пулей или пикой
Добудем комбрига!.. —
Налетели и столкнулись,
Сдвинулись конями,
Сабли враз перехлестнулись
Кривыми ручьями...
У комбрига боевая
Душа запылала,
Он с налета разрубает
Саблю Опанаса.
Рубанув, откинул шашку,
Грозится глазами:
— Покажи свою замашку
Теперь кулаками! —
У комбрига мах ядреный,
Тяжелей свипчатки,
Развернулся — и с разгону
Хлобысть по сопатке!..

.

Опанасе, что с тобою?
Поник головою...
Повернулся, покачнулся,
В траву скovyрнулся...
Глаз над левою скулою
Затек синевою...
Молча падает на спину,
Ладони раскинул...
Опанасе, наша доля
Развеена в поле!..

VII

Балта — городок приличный,
Городок — что надо.
Нет нигде румяней вишни,
Слаще винограда.
В брынзе, в кавунах, в укрепе
Звонкий день базарный;
Голубей гоняет хлопонец
С каланчи пожарной...

Опанасе, не гадал ты
В ковыле раздольном,
Что поедешь через Балту
Трактом малахольным;
Что тебе вдогонку бабы
Затоскуют взглядом;
Что пихнет тебя у штаба
Часовой прикладом...
Ой, чумацкие просторы —
Горькая потеря!..
Коридоры в коридоры,
В коридорах — двери.
И по коридорной пыли,
По глухому дому,
Опанаса проводили
На допрос к штабному.
А штабной имел к допросу
Старую привычку —
Предлагает папиросу,
Зажигает спичку:
— Гражданин, прошу по чести
Говорить со мною.
Долго ль вы шатались вместе
С Нестором Махною?
Отвечайте без обмана,
Не испуга ради, —
Сколько сабель и тачанок
У него в отряде?
Отвечайте, но не сразу,
А подумав малость, —
Сколько в основную базу
Фуража вмещалось?
Вам знакома ли округа,
Где он банду водит?..
— Что я знал: коня, подпругу,
Саблю да поводья!
Как дрожала даль степная,
Не сказать словами:
Украина — мать родная —
Билась под конями!
Как мы шли в колесном гrome
Так что небу жарко,

Помнят Гайсини и Житомир,
Балта и Вапнярка!..
Наворачивала удаль
В дым, в жестянку, в бога!..
...Одного не позабуду,
Как скончался Коган...
Разлюбезною дорогой
Не пройдутся ноги,
Если вытянулся Коган
Поперек дороги...
Ну, штабной, мотай башкою,
Придвигай чернила:
Этой самою рукою
Когана убило!..
Погибай же, Гуляй-Поле,
Молодое жито!..

.

Опанасе, наша доля
Туманом повита!..

VIII

Опанас, шагай смелее,
Гляди веселее!
Ой, не гикнешь, ой, не топнешь,
В ладоши не хлопнешь,
Пальцы дружные ослабли,
Не вытащат сабли.
Наступил последний вечер,
Покрыть тебе нечем!
Опанас, твоя дорога —
Не дальше порога.
Что ты видишь? Что ты слышишь?
Что знаешь? Чем дышишь?
Ночь горячая, сухая,
Да темень сарая.
Тлеет лампочка под крышей, —
Эй, голову выше!..
А навстречу над порогом —
Загубленный Коган.
Аккуратная прическа,
И щеки из воска...

Улыбается сурово:
— Приятель, здорово!
Где нам суждено судьбою
Столкнуться с тобою!..
Опанас, твоя дорога —
Не дальше порога..

Э п и л о г

Протекли над Украиной
Боевые годы.
Отшумели, отгудели
Молодые воды..
Я не знаю, где зарыты
Опанаса кости:
. Может, под кустом ракиты,
. Может, на погосте..
Плещет крыжень сизокрылый
Над водой днестровской;
Ходит слава над могилой,
Где лежит Котовский..
За бандитскими степями
Не гремят копыта:
Над горячими костями
Зацветает жито.
Над костями голубеет
Непроглядный омут
Да идет красноармеец
На побывку к дому..
Остановится и глянет
Синими глазами —
На бездомный круглый камень,
Вымытый дождями.
И нагнется, и подымет
Одинокий камень:
На ладони — белый череп
С дыркой над глазами.
И промолвит он, почувяв
Мертвую прохладу:
— Ты глядел в глаза винтовке,
Ты погиб, как надо!..
И пойдет через равнину,

Через омут зноя,
В молодую Украину,
В жито молодое...

• • • • •

Так пускай и я погибну
У Попова лога,
Той же славною кончиной,
Как Иосиф Коган!..

1926

Происхождение

Я не запомнил, на каком ночлеге
Пробрал меня грядущей жизни зуд.
Качнулся мир.
Звезда споткнулась в беге
И заплескалась в голубом тазу.
Я к ней тянулся... Но, сквозь пальцы рея
Она рванулась — краснобокий язь.
Над колыбелью ржавые евреи
Косых бород скрестили лезвия.
И все навыворот.
Все как не надо.
Стучал сазан в оконное стекло;
Конь щебетал; в ладони ястреб падал;
Плясало дерево.
И детство шло.
Его опресноками иссушали.
Его свечой пытались обмануть.
К нему в упор придвинули скрижали —
Врата, которые не распахнуть.
Еврейские павлины на обивке,
Еврейские скисающие сливки,
Костыль отца и матери чепец —
Все бормотало мне:
— Подлец! Подлец! —
И только ночью, только на подушке
Мой мир не рассекала борода;
И медленно, как медные полушки,
Из крана в кухне падала вода.
Сворачивалась. Набегала тучей.
Струистое точила лезвие...

— Ну как, скажи, поверит в мир текущий
Еврейское неверие мое?

Меня учили: крыша — это крыша.
Груб табурет. Убит подошвой пол,
Ты должен видеть, понимать и слышать,
На мир облокотиться, как на стол.
А древоточца часовая точность
Уже долбит подпорок бытие.

...Ну как, скажи, поверит в эту прочность
Еврейское неверие мое?

Любовь?

Но съеденные вшами косы;
Ключица, выпирающая косо;
Прыщи; обмазанный селедкой рот
Да шея лошадиный поворот.

Родители?

Но в сумраке старея,
Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки.

Дверь! Настежь дверь!

Качается снаружи

Обглоданная звездами листва,
Дымится месяц посредине лужи,
Грач вопиет, не помнящий родства.

И вся любовь,

Бегущая навстречу,

И все кликушество

Моих отцов,

И все светила,

Строящие вечер,

И все деревья,

Рвущие лицо, —

Все это встало поперек дороги,

Большими бронхами свистя в груди:

— Отверженный! Возьми свой скарб убогий,

Проклятье и презренье!

Уходи! —

Я покидаю старую кровать:

— Уйти?

Уйду!

Тем лучше!

Наплевать!

Встреча

Меня еда арканом закружила,
Она встает эпической угрозой,
И круг ее неразрушим и страшен,
Испарина подернула ее...
И в этот день в Одессе на базаре
Я заблудился в грудях помидоров,
Я среди арбузов не нашел дороги,
Черешни завели меня в тупик;
Меня стена творожная обстала,
Стекая сывороткой на булыжник,
И ноздреватые обрывы сыра
Грозят меня обвалом раздавить.
Еще на градус выше — и ударит
Из бочек масло раскаленной жижей
И, набухая желтыми прыщами,
Обдаст камень — и зальет меня.
И синемордая тупая брюква,
И крысья, узкорылая морковь,
Капуста в буклях, репа, над которой
Султаном подымается ботва,
Вокруг меня, кругом, неумолнимо
Навалены в корзины и телеги,
Раскиданы по грязи и мешкам.
И как вожди съедобных батальонов,
Как памятники пьянству и обжорству
Обмазанные сукровицей солнца,
Поставлены хозяева еды.
И я один среди враждебной стаи
Людей, забропированных едою,
Потеющих под солнцем Хаджи-бея

Чистейшим жиром, жарким, как смола,
И я мечусь средь животов огромных,
Среди грудей, округлых, как бочонки,
Среди зрачков, в которых отразилась
Капуста, брюква, репа и морковь.
Я одинок. Одесское, густое,
Большое солнце надо мною встало,
Вгоняя в землю, в травы и телеги
Колючие отвесные лучи.
И я свищу в отчаянье, и песня
В три россыпи и в два удара вьется
Бездомным жаворонком над толпой.
И вдруг петух, неистовый и звонкий,
Мне отвечает из-за груды пищи,
Петух — неисправимый горлопан,
Орущий в дни восстаний и сражений.
Оглядываюсь — это он, конечно,
Мой старый друг, мой Ламме, мой товарищ,
Он здесь, он выведет меня отсюда
К моим давно потерянным друзьям!
Он толще всех, он больше всех потеет;
Промокла полосатая рубаха,
И брюхо, выпирающее грозно,
Колышется над пыльной мостовой.
Его лицо, багровое, как солнце,
Расцветчено румянами духовки,
И молодость древнейшая играет
На неумело выбритых щеках.
Мой старый друг, мой неуклюжий Ламме,
Ты так же толст и также беззаботен,
И тот же подбородок четверной
Твое лицо, как прежде, украшает.
Мы переходим рыночную площадь,
Мы огибаем рыбные ряды,
Мы к погребу идем, где на дверях
Отбита надпись кистью и линейкой:
«Пивная госзаводов Пищетрест».
Так мы сидим над мраморным квадратом,
Над пивом и над раками — и каждый
Пунцовый рак, как рыцарь в красных латах,
Как Дон-Кихот, бессилен и усат.
Я говорю, я жалуясь. А Ламме
Качает головой, выламывает

Клешни у рака, чмокает губами,
Прихлебывает пиво и глядит
В окно, где проплывает по стеклу
Одесское просоленное солнце,
И ветер с моря подымает мусор
И столбики кружит по мостовой.
Все выпито, все съедено. На блюде
Лежит опустошенная броня
И кардинальская тиара рака.
И Ламме говорит: — Давно пора
С тобой потолковать! Ты ослабел,
И желчь твоя разлилась от безделья,
И взгляд твой мрачен, и язык остер.
Ты ищешь нас, — а мы везде и всюду,
Нас множество, мы бродим по лесам,
Мы направляем лошадь селянина,
Мы раздуваем в кузницах горнило,
Мы с школярами заодно зубрим.
Нас много, мы раскиданы повсюду,
И если не певцу, кому ж еще
Рассказывать о радости минувшей
И к радости грядущей призывать?
Пока плывет над этой мостовой
Тяжелое просоленное солнце,
Пока вода прохладна по утрам,
И кровь свежа, и птицы не умолкли, —
Тиль Уленшпигель бродит по земле.

И вдруг за дверью раздается свист
И россыпь жаворонка полевого.
И Ламме опрокидывает стол,
Вытягивает шею — и протяжно
Выкрикивает песню петуха.
И дверь приотворяется слегка,
Лицо выглядывает молодое,
Покрытое веснушками, и губы
В улыбку раздвигаются, и нас
Оглядывают с хитрою усмешкой
Лукавые и ясные глаза.

.
Я Тиль Уленшпигеля пою!

Вмешательство поэта

Весенний востер лезет вон из кожи,
Калиткой щелкает, кусты корежит,
Сырой забор подталкивает в бок,
Сосна, как деревянное проклятье,
Железный флюгер, вырезанный ятью
(Смотри мой «Папиросный коробок»),
А критик за библейским самоваром,
Винтообразным окружен угаром,
Глядит на чайник, бровью шевеля.
Он тянет с блюда — в сторону мизинец, —
Кальсоны хлопают на мезонине,
Как вымпел пожилого корабля.
И самовар на скатерти бумажной
Протоднаконом гудит протяжно.
Сосед откушал, обругал жену
И благодушествует:

— Ах! Погода!

Какая подмосковная природа!
Сюда бы Фофанова да луну! —

Через дорогу, в хвойном окруженье
Я двигаюсь взлохмаченною тенью,
Ловлю пером случайные слова,
Благословляю кляксами бумагу,
Сырые сосны отряхают влагу,
И в хвое просыпается сова.
Сопит река.

Земля раздражена
(Смотри стихотворение «Весна»).

Слова, как ящерицы, — не наступишь;
Размеры — выгоднее воду в ступе
Толочь; а композиция встает
Шестиугольником или квадратом;
И каждый образ кажется проклятым,
И каждый звук топырится вперед.
И с этой бандой символов и знаков
Я, как биндюжник, выхожу на драку
(Я к зуботычным привык давно).
А критик мой недавно чай откушал.
Статью закончил, радио прослушал
И на террасу распахнул окно.
Меня он видит — он доволен миром —
И тенорком, политым жиром,
Пугает галок на кусте сыром.
Он возглашает:

— Прорычите басом,
Чем кончилась волынка с Опанасом,
С бандитом, украинским босяком.
Ваш взгляд от несварення неистов.
Прошу, скажите за контрабандистов,
Чтоб были страсти, чтоб огонь, чтоб гром,
Чтоб жеребец, чтоб кровь, чтоб клубы дым
Ах, для здоровья мне необходимы
Романтика, слабительное, бром!
Не в этом ли удача из удач?
Я говорю как критик и как врач.
Но время движется. И на дороге
Гиниют донисторические дроги,
Булыжником разъедена трава,
Электротехник на столбы вылазит, —
И вот ползет по укрошенной грязи,
Покачивая бедрами, трамвай.
(Сосед мой недоволен:

— Эт-то проза!)

Но плимутрок из ближнего совхоза
Орет на солнце, выкатив кадык.

— Как мне работать!

Голова в тумане,

И бытнем прижатое сознание
Упорствует и выжимает кряк.

Я вижу, как взволнованные воды
Зажаты в тесные водопроводы,
Как захлестнула молнию струна.
Механики, чекисты, рыбоводы,
Я ваш товарищ, мы одной породы, —
Побоями нас нянчила страна!
Приходит время зрелости суровой,
Я пух теряю, как петух здоровый.
Разносит ветер пестрые клочки.
Неумолимо, с болью напряженья,
Вылазят кровянистые стручки,
Колючие ошметки и крючки —
Начало будущего оперенья:
— Ау, сосед! —
Он стонет и ворчит:
— Невыносимо плимутрок кричит,
Невыносимо дребезжат трамваи!
Да, вы линяете, милейший мой!
Вы погибаете, милейший мой!
Да, вы в тупик уперлись головой,
И как вам выбраться, не понимаю! —
Молчи, папаша! Пестрое перо —
Топорщится, как новая рубаха.
Петуший гребень дыбится остро;
Я, словно исполинский плимутрок,
Закидываю шею. Кличет рог, —
Крылами раз! — и на забор с размаха
О, злобное петушьё бытие!
Я вылинял! Да здравствует победа!
И лишь перо погибшее мое
Кружится над становищем соседа.

Т В С

Пыль по ноздрям — лошади ржут.
Акации сыплются на дрова:
Треплется по ветру рыжий джут,
Солнце стоит посреди двора.
Рычаньем и чадом воздух прорыв,
Приходит обеденный перерыв.

Домой до вечера. Тишина.
Солнце кипит в каждом кремне.
Но глухо, от сердца, из глубины,
Предчувствие кашля идет ко мне.

И сызнава мир колюч и наг;
Камни — углы, и дома — углы;
Трава до оскомины зелена,
Дороги до скрежета белы.
Надсаживаясь и спеша донельзя,
Лезут под солнце ростки и Цельсий.

(Значит: в гортани просохла слизь,
Воздух, прожарясь, стекает вниз,
А снизу, цепляясь по веткам лоз,
Плесенью лезет туберкулез.)

Земля надрывается от жары.
Термометр взорван. И на меня,
Грохоча, осыпаются миры
Каплями ртутного огня,
Обжигают темя, текут ко рту.
И вся дорога бежит, как ртуть.

А вечером в клуб (доклад и кино,
Собрание рабкоровского кружка).
Дома же сонно и полутемно:
О, скромная заповедь молока!

Под окнами тот же скопческий вид,
Тот же кошачий и детский мир,
Который удушьем ползет в крови,
Который до отвращения мил,
Чадом которого ноздри, рот,
Бронхи и легкие — все полно,
Которому голосом сковород
Напоминать о себе дано.
Напоминать: «Подремли, пока
Правильно в мире. Усни, сынок».

Тягостно коченеет рука,
Жилка колотится о висок.

(Значит: упорней бронхи сосут
Воздух по капле в каждый сосуд;
Значит: на ткани полезла ржа;
Значит: озноб, духота, жар.)
Жилка колотится у виска,
Судорожно дрожит у век,
Будто постукивает слегка
Остроугольный палец в дверь.
Надо открыть в конце концов!
— Войдите. — И он идет сюда:
Остроугольное лицо,
Остроугольная борода.
(Прямо с простенка не он ли, не он
Выплыл из воспаленных знамен?
Выпятив бороду, шурясь слегка
Едим глазом из-под козырька.)
Я говорю ему: — Вы ко мне,
Феликс Эдмундович? Я нездоров.

...Солнце спускается по стене,
Кошкам на ужин в помойный ров
Заря разливает компотный сок.
Идет знаменитая тишина.
И вот над уборной из досок
Вылазит неприбранная луна.

— Нет, я попросту — потолковать. —
И опускается на кровать.

Как бы продолжая давнишний спор,
Он говорит: — Под окошком двор
В колючих кошках, в мертвой траве,
Не разберешься, который век.
А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Иди — и не бойся с ним рядом встать.
Твое одиночество веку под стать.
Оглянешься — а вокруг враги;
Руки протянешь — и нет друзей;
Но если он скажет: «Солги», — солги.
Но если он скажет: «Убей», — убей.
Я тоже почувствовал тяжкий груз
Опущенной на плечо руки.
Подстриженный по-солдатски ус
Касался тоже моей щеки.
И стол мой раскидывался, как страна,
В крови и чернилах квадрат сукна,
Ржавчина перьев, бумаги клоч, —
Все друга и недруга стерегло.
Враги приходили — на тот же стул
Садилась и рушилась в пустоту.
Их нежные кости сосала грязь.
Над ними захлопывались рвы.
И подпись на приговоре вилась
Струей из простреленной головы.
О мать-революция! Не легка
Трехгранная откровенность штыка;
Он вздыбился из гущины кровей —
Матерый желудочный быт земли.
Трави его трактором. Песней бей.
Лопатой взнуздай, киркой проколи!
Он вздыбился над головой твоей —
Прими на рогатину и повали.
Да будет почетной участь твоя;
Умри, побеждая, как умер я. —

Смолкает. Жилка о висок
Гуще и осторожней бьет.

(Значит: из пор, как студень сок,
Медленный протупает пот.)

И ветер в лицо, как вода из ведра.
Как вестник победы, как снег, как стынь
Луна лейкоцитом над кругом двора,
Звезды круглы, и круглы кусты.
Скатываются девять часов
В огромную бочку возле окна.
Я выхожу. За спиной засов
Защелкивается. И — тишина.
Земля, наплывающая из мглы,
Легла, как неструганая доска,
Готовая к легкой пляске пилы,
К тяжелой походке молотка.
И я ухожу (а вокруг темно)
В клуб, где нынче доклад и кино,
Собрание рабкоровского кружка.

1929

Веселые нищие

(Р. Бернс)

Листва набегом ржавых звезд
Летит на землю, и норд-ост
Свистит и стонет меж стволами;
Траву задела седина,
Морозных полдней вышина
Встает над сизыми лесами.
Кто в эту пору изнемог
От грязи нищенских дорог,
Кому проклятья шлют деревни:
Он задремал у очага,
Где бычья варится нога,
В дорожной воровской харчевне;
Здесь Нэнси нищенский приют,
Где пиво за тряпье дают.
Здесь краж проверяется опыт
В горячем чаду ночников.
Харчевня трещит: это топот
Обрушенных в пол башмаков.
К огню очага придвигается ближе
Безрукий солдат, горбоносый и рыжий,
В клочки изодрался багровый мундир.
Своей одинокой рукою
Он гладит красотку, добытую с бою,
И что ему холодом пахнувший мир.
Красотка не очень красива,
Но хмелем по горло полна.
Как кружку прокисшего пива,
Свой рот подставляет она.

И, словно удары хлыста,
Смыкаются дружно уста.
Смыкаются и размыкаются громко.
Прыщавые лбы освещает очаг.
Меж тем под столом отдыхает котомка —
Знак ордена Нищих,
Знак братства Бродяг.
И кружку подняв над собою,
Как знамя, готовое к бою,
Солодом жарким объят,
Так запекает солдат:

— Ах! Я Марсом порожден, в перестрелках окрещен,
Поцарапано лицо, шрам над верхней губою,
Оцарапан — страсти знак! — этот шрам врубил тесак
В час, как бил я в барабан пред французскою толпою.
В первый раз услышал я заклинание ружья,
Где упал наш генерал в тень Абрамского кургана,
А когда военный рог пел о гибели Моро,
Служба кончилась моя под раскаты барабана.
Куртис вел меня с собой к батареям над водой,
Где рука и где нога? Только смерч огня и пыли.
Но безрукого вперед в бой уводит Эллиот;
Я пошел, а впереди барабаны битву били...
Пусть погибла жизнь моя, пусть костыль взамен ружья,
Ветер гнезда свил свои, ветер дует по карманам,
Но любовь верна всегда — путеводная звезда,
Будто снова я спешу за веселым барабаном.
Рви, метель, и, ветер, бей. Волос мой снегов белей.
Разворачивайся, путь! Вой, утроба океана!
Я доволен — я хлебнул! Пусть выводит Вельзевул
На меня полки чертей под раскаты барабана!

Охрип или слов не достало,
И сызнова топот и гам
И крысы, покрытые салом,
Скрываются по тайникам.
И та, что сидела с солдатом,
Над сборищем встала проклятым.
— Encore!¹ — восклицает скрипач.
Косматый вздымается волос;

¹ Еще! (франц.).

Скажи мне: то женский ли голос,
Шипение пива или плач?

— И я была девушкой юной,
Сама не припомню когда;
Я дочь молодого драгуна,
И этим родством я горда.
Трубили горнисты беспечно,
И лошади стронлись в ряд,
И мне полюбился, конечно,
С барсучьим султаном солдат.
И первым любовным туманом
Меня он покрыл, как плащом,
Недаром он шел с барабаном
Пред целым драгунским полком;
Мундир полыхает пожаром,
Усы палашами торчат...
Недаром, недаром, недаром
Тебя я любила, солдат.
Но прежнего счастья не жалко,
Не стоит о нем вспоминать,
И мне барабанную палку
На рясу пришлось променять:
Я телом рискнула — а душу
Священник пустил напрокат.
Ну что же! Я клятву нарушу,
Тебе изменю я, солдат!
Что может, что может быть хуже
Слюнявого рта старика!
Мой норв с воещиной дружен, —
Я стала женою полка!
Мне все равно: юный или старый,
Командует, трубит ли в лад, —
Играла бы сбруя пожаром,
Кивал бы султаном солдат.
Но миром кончаются войны,
И по миру я побрела.
Голодная, с дрожью запойной,
В харчевне под лавкой спала.
На рынке, у самой дороги,
Где нищие рядом сидят,
С тобой я столкнулась, безногий,
Безрукий и рыжий солдат.

Я вольных годов не считала,
Любовь раздавая свою;
За рюмкой, за кружкой удалой
Я прежние песни пою.
Пока еще глотка глотает,
Пока еще зубы скрипят,
Мой голос тебя прославляет,
С барсучьим султаном солдат!

И снова женщина встает,
Знакомы ей туман и лед,
В горах случайные дороги,
Косуля, тетерев и лис,
Игла сосны и дуба лист,
Разбейничий двупалый свист,
Непроходимые берлоги.
Ее приятель горцем был,
Он пиво пил, он в рог трубил,
Норд-ост трепал его отренья;
Он чуял ветер псудац,
Но вот его пеньковой цепью
Почетно обвязал палач.
И нынче пьяная подруга
Над пивом вспоминает друга:

— Под елью Шотландии горец рожден.
Да здравствует клан! Да погибнет закон!
Он знает равнину, и камень, и лог,
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок,
В тартановом плеле, расшитом пестро,
На шапке — болотного гуся перо,
Рука на кинжале, и взведен курок,
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок!
Мы шли по дороге от Твида до Спей,
Под выход волынки, под пляску ветвей,
Мы пели вдвоем, мы не чуяли ног,
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок!
Его осудили — и выгнали вон,
Но вереск цветет — появляется он;
Рука на кинжале, и взведен курок,
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок.
Погоня! Погоня! Исполнился день —
Захвачен Шотландии вольный олень.

Палач. И вревка намылена в срок.
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок!
Прощайте, веселые реки мои,
Волянка, попутчица нашей любви,

За ветер, за песни последний глоток!
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок!

Х о р

Надо выпить за Джона!
Надо выпить за Джона!
Нет на земле шотландца
Доблестней горца Джона!

Перед шотландскою красоткой
Огромной, рыжей, как кумач,
Стоит влюбившийся скрипач,
Разбитый временем и водкой.
Не достигая до плеча,
Он ей бормочет сгоряча:

— Я джентльмен, и должен я, мой друг, утешить тебя.
Ты можешь очень весело жить, лишь скрипача любя.
Я в жертву тебе принести готов и музыку и себя.

На остальное плевать!

По свадьбам начнем мы ходить с тобой — что может
быть веселей?

О, пляски на фермерском дворе среди золотых полей,
Когда скрипач кричит жениху: «Жених! Наливай
полней!»

На остальное плевать!

И солнце покажется нам тогда, как донце кружки
пивной,
И вегер подушкою будет нам, покрывалом — июльский
зной,

Любовь и музыка по бокам, котомка — за спиной!

На остальное плевать!

Довольно! — И скрипку пунцовым платком
С веселою нежностью кутает гиом;
Глаза подымает — и видит старик
Огромной возлюбленной пламенный лик...
Но к черту ломаются стулья и стол,
Кузнец подымается, груб и тяжел,

Моргая глазами, сопя и ворча,
Он в зубы, по правилам, бьет скрипача.
Огромн кузнец. Огневой, кровяной,
Шибает в лицо ему выпивки зной;
Свои бакенбарды из шерсти овечьей
Кладет он шотландке на жирные плечи.
Любви музыканта приходит конец;
Как два монумента — она и кузнец.
Он щиплет ее, запевая спьяна,
И в лад его песне икает она.

— Из Лондона в Глазго стучат мои шаги,
Паяльник мой шипит, и молоток стрекочет,
Распорот мой жилет, и в дырках сапоги,
Но коль кузнец влюблен — он пляшет и хохочет...

В солдаты я иду, когда работы нет:
Бесплатная жратва и пиво даровое.
Но, деньги получив, я заметаю след,
Паяльник мой в руках, жаровня за спиною.

Хор

О, что тебе скрипач, — он жертва неудач!
Сыграет и споет — и песня позабыта.
Твой новый господин — железа властелин:
Он подкует любви веселые копыта!
Пускай горят сердца во славу кузнеца!
Назавтра снова путь, работа спозаранку.
Гремит среди лугов две пары каблуков:
Друг под руку ведет веселую шотландку.

Скрипач не зекает. Долой кузнеца!
Жена хороша у бродяги-певца.
Подобно коту, подошедшему к пище,
Скрипач осторожно мурлычет и свищет,
Нечаянно ногу коленкой прижмет,
Нечаянно плечи рукой обоймет, —
Покуда кузнец неуклюже, без правил,
Его не побил и под стол не отправил.
Совсем неудачная ночь!
Как дрозд веселится бродяга-певец.
Дорогам и песням не скоро конец.
Он пышет румянцем, зубами блесит,
Деревьям смеется и птицам свистит.

Для бренного ж тела он должен иметь
Литровую кружку и добрую снедь.

И в ночь запевае певец:

— Веселого певца
Не услыхать вельможам,
Недаром я пою
В лесах, по бездорожьям...
Уродлив посох мой,
Кафтан мой в прахе сером,
Но пчел веселый рой,
Крутясь, летит за мной,
Как прежде за Гомером.

Увы! Кастальский ключ
Не вычерпать стаканом,
От греческой воды
Не быть вовеки пьяным.
В передвечерний час
Меня приносят ноги
К тебе, в приют не строгий,
Мой нищенский Парнас,
Открытый при дороге.

Дыхание любви
Нежней, чем ветер с юга.
Зови меня, зови,
Бездомная подруга.
Цветет ночная высь,
Травою пруд волнуем,
Чтоб мы, внимая струям,
Сошлись и разошлись
С веселым поцелуем.

Встречайте ж день за днем
Свободой и вином...

Над языками фитилей
Кружится сажа жирным пухом,
И нищие единым духом
Вопят: — Давай! Прими! Налей! —
И черной жаждою полно
Их сердце. Едкое вино

Не утоляет их, а дразнит.
Ах, скоро ли настанет праздник,
И воздух горечью сухой
Их напоит! И с головой
Они нырнут в траву поляны,
В цветочный мир, в пчелиный гуд,
Где, на кирку склоняясь, Труд
Стоит в рубахе полотняной
И отирает лоб. Но вот
Столкнулись кружки, и фагот
Заверещал. И черной жаждой
Пылает и томится каждый.
И в иступленном свете свеч
Они тряпье срывают с плеч;
Густая сажа жирным пухом
Плывет над пьяною толпой...
И нищие единым духом
Орут: — Еще, приятель, пой! —
И в крик и в запах дрожжевой
Певец бросает голос свой:

— Плещет жижей пивною
В щеки выпивки зной!
Начинайте за мною,
Запевайте за мной!
Королевским законам
Нам голов не свернуть.
По равнинам зеленым
Залегает наш путь.
Мы проходим в безлюдье,
С крепкой палкой в руках,
Мимо чопорных судей
В завитых париках,
Мимо пасторов чинных,
Наводящих тоску!
Мимо... Мимо...
В равнинах
Воронье начеку.
Мы довольны! Вельможе
Не придется заснуть,
Если в ночь, в бездорожье
Залегает наш путь.

И ханже не придется
Похвалиться собой,
Если ночь раздается
Перед нашей клюкой...
Встанет полдень суровый
Над раздольями тьмы,
Горечь пива иного
Уж попробуем мы!..
Братья! Звезды погасли,
Что им в небе торчать?
Надо в теплые ясли
Завалиться — и спать.
Но и пьяным и сонным
Затверди, не забудь:
Королевским законам
Нам голов не свернуть!

1928

Человек предместья

Вот зелена прозябли,
Продуты ветром дни,
Мой подмосковный зяблик,
Начни, начни...

Бревенчатый дом под зеленой крышей,
Флюгарка визжит, и шумят кусты;
Стоит человек у цветущих вишен:
Герой моей повести — это ты!

.

Вкруг мира, поросшего нелюдимою
Крапивой, разрозненный мчался быт.
Славянский шкаф — и труба без дыма,
Пустая кровать — и дым без трубы.

На голенастых ногах ухваты,
Колоды для пчел — замыкали круг.
А он переминался, угловатый,
С большими сизыми кистями рук.

Вот так бы нацелиться — и с налета
Прихлопнуть рукой, коленом прижать...
До скрежета, до ледяного пота
Стараться схватить, обломать, сдержать!

Недаром учили: клади на плечи,
За пазуху суй — к себе таща,
В закут овечий,
В дом человеческий,
В капустную благодать борща.

И, глядя на мир из дверей амбара,
Из пахнущих крысами недр его,
Не отдавай ни сора, ни пара,
Ни камня, ни дерева — ничего!

Что ж, служба на выручку!
Полустанки...
Пернатый фонарь да гудки в ночи...
Как рыжих младенцев, несут крестьянки
Прижатые к сердцу калачи.

Гремя инструментом, проходит смена.
И там, в каморке проводника,
Дым коромыслом. Попойка. Мена.
На лавках рассыпанная мука.

А все для того, чтобы в предместье
Углами укладывались столбы,
Чтоб шкаф, покругившись, застрял на месте,
Чтоб дым, завертясь, пошел из трубы.

(Но все же из будки не слышно лая,
Скворечник пустует, как новый дом,
И пухлые голуби не гуляют
Восьмеркою на чердаке пустом.)

И вот в улетающий запах пота,
В смолкающий плотничий разговор,
Как выдох, распахиваются ворота —
И женщина вливается во двор.

Пред нею покорно мычат коровы,
Не топоча, не играя зря,
И — руки в бока — откинув ковровый
Платок, она стоит, как заря.

Она расставляет отряды крынок:
Туда — в больницу; сюда — на рынок;
И, вытянув шею, слышит она
(Тише, деревья, пропустишь сдуру)
Вьющийся с фабрики Ногина
Свист выдаваемой мануфактуры.

Вот ее мир — дрожжевой, густой,
Спит и сопит — молоком насытаться,
Жидкий навоз, над навозом ситец,
Пушенный в бабочку с запятой.
А посередке, крылом звеня,
Кочет вопит над насадкой вялой.

Черт его знает, зачем меня
В эту обитель нужда загнала!..
Здесь от подушек не продохнуть,
Легкие так и трещат от боли...
Крикнуть товарищей? Иль заснуть?
Иль возвратиться к герою, что ли?!

Ветер навстречу. Скрипит вагон.
Черная хвоя летит в угон.
Весь этот мир, возникший из дыма,
В беге откинувшийся, трубя,
Навзничь, — он весь пролетает мимо,
Мимо тебя, мимо тебя!

Он облетает свистящим кругом
Новый забор твой и теплый угол.

Как тебе тошно. Опять фонарь
Млеет на станции. Снова, снова
Баба с корзинкой, степная гарь
Да заблудившаяся корова.

Мир переполнен твоей тоской;
Буксы выстукивают: на кой?

На кой тебе это?
Ты можешь смело
Посредине двора, в июльский зной,
Раскинуть стол под скатертью белой
Средь мира, построенного тобой.

У тебя на столе самовар, как глобус,
Под краном стакан, над конфоркой дым;
Размякнув от пара, ты можешь в оба
Теперь следить за хозяйством своим.

О, благодущие! Ты растроган
Пляской телят, воркованьем шей,
Журчаньем в желудке...
А за порогом —
Страна враждебных тебе вещей.

На фабрику движутся, раздирая
Грунт, дюжие лошади (топот, гром).
Не лучше ль стоять им в твоём сарае
В порядке. Как следует. Под замком.

Чтобы дышали добротной скукой
Хозяйство твоё и твоё семья,
Чтоб каждая мелочь была порукой
Тебе в неподвижности бытия.

Жара. Не читается и не спится.
Предместье солнцем оглушено.
Зеваю. Закладываю страницу
И настежь распахиваю окно.

Над миром, надтреснутым от нагрева,
Ни ветра, ни голоса петухов...
Как я одинок! Отзовитесь, где вы,
Весёлые люди моих стихов?

Прошедшие с боем леса и воды,
Всем ливням подставившие лицо,
Чекисты, мехашки, рыбководы,
Взойдите на струганое крыльцо.

Настала пора — и мы снова вместе!
Опять горизонт в боевом дыму!
Смотри же сюда, человек предместий:
— Мы здесь! Мы пируем в твоём доме!

Вперед же, солдатская песня пира!
Открылся поход.
За стеной враги.
А мы постарели. — И пылью мира
Покрылись походные сапоги.

Но все ж, по-охотничьи, каждый зорек.
Ясна поседевшая голова.

И песня просторна.
И ветер дорог.
И дружба вступает в свои права.

Мы будем сидеть за столом веселым
И толковать и шуметь, пока
Не влезет солнце за частоколом
В ушат топленого молока.
Пока не просвищут стрижи. Пока
Не прoderет росяным рассолом
Траву — до последнего стебелька.

И, палец поднявши, один из нас
Раздумчиво скажет: «Какая тьма!
Как время идет! Уже скоро час!»
И словно в ответ ему, ночь сама
От всей черноты своей грянет: «Раз!»

А время идет по навозной жиже.
Сквозь бурю листвы не видать ни зги.
Уже на крыльце оно. Ближе. Ближе.
Оно в сенях вытирает сапоги.

И в блеск половиц, в промытую содой
И щелоком горницу, в плеск мытья
Оно врывается непогодой,
Такое ж сутуловатое, как я,
Такое ж, как я, презревшее отдых,
И вдохновеньем потрясено,
Глаза, промытые в сорока водах,
Медленно поднимает оно.

От глаз его не найти спасенья,
Не отмахнуться никак сплеча.
Лампу погасишь. Рванешься в сени,
Дверь на запоре. И нет ключа.

Как ни ломись — не проломишь — баста!
В горницу? В горницу не войти!
Там дочь твоя, стриженная, в угластом
Пионерском галстукe, на пути.

И, руками комкая одеяло,
Еще сновиденьем оглушена,
Вперед ногами, мало-помалу,
Сползает на пол твоя жена!

Ты грянешь в стекла. И голубое
Небо рассыплется на куски.
Из окна в окно, закрутись трубою,
Рванутся дикие сквозняки.

Твой лоб снятием окровавит
Востока студеная полоса,
И ты услышишь, как время славят
Наши солдатские голоса.

И дочь твоя подымает голос
Выше берез, выше туч, — туда,
Где дрогнул сумрак и раскололась
Последняя утренняя звезда.

И первый зяблик порвет затишье...
(Предвестник утренней чистоты.)
А ты задыхаешься, что ты слышишь?
Испуганный, что рыдаешь ты?

Бревенчатый дом под зеленой крышей.
Флюгарка визжит и шумят кусты.

Смерть пионерки

Грозою освеженный,
Подрагивает лист.
Ах, пеночки зеленой
Двухоборотный свист!

Валя, Валентина,
Что с тобой теперь?
Белая палата,
Крашенная дверь.
Тоньше паутины
Из-под кожи щек
Тлеет скарлатины
Смертный огонек.

Говорить не можешь —
Губы горячи.
Над тобой колдуют
Умные врачи.
Гладят бедный ежик
Стриженных волос.
Валя, Валентина,
Что с тобой стряслось?
Воздух воспаленный,
Черная трава.
Почему от зноя
Ноет голова?
Почему теснится
В подъязычье стой?
Почему ресницы
Обдувает сон?

Двери отворяются.
(Спать. Спать. Спать.)
Над тобой склоняется
Плачущая мать:

— Валенька, Валюша!
Тягостно в избе.
Я крестильный крестик
Принесла тебе.
Все хозяйство брошено,
Не поправишь враз,
Грязь не по-хорошему
В горницах у нас.
Куры не закрыты,
Свиньи без корыта;
И мычит корова
С голоду сердито.
Не противься ж, Валенька,
Он тебя не съест,
Золоченый, маленький,
Твой крестильный крест.

На щеке помятой
Длинная слеза.
А в больничных окнах
Двигается гроза.
Открывает Валя
Смутные глаза.

От морей ревучих
Пасмурной страны
Наплывают тучи,
Ливнями полны.

Над больничным садом,
Вытянувшись в ряд,
За густым отрядом
Двигается отряд.
Молнии, как галстуки,
По ветру летят.

В дождевом сиянье
Облачных слоев

Словно очертанье
Тысячи голов.

Рухнула плотина,
И выходят в бой
Блузы из сатина
В синьке грозовой.

Трубы. Трубы. Трубы
Подымают вой.

Над больничным садом,
Над водой озер
Двигутся отряды
На вечерний сбор.
Заслоняют свет они
(Даль черным-черна),
Пионеры Кунцева,
Пионеры Сетуни,
Пионеры фабрики Ногиша.

А внизу склоненная
Изнывает мать:
Детские ладони
Ей не целовать.
Духотой спаленных
Губ не освежить.
Валентине больше
Не придется жить.

— Я ль не собирала
Для тебя добро?
Шелковые платья,
Мех да серебро,
Я ли не копила,
Ночи не спала,
Все коров доила,
Птицу стерегла, —
Чтоб было приданое,
Крепкое, недраное,
Чтоб фата к лицу —
Как пойдешь к венцу!
Не противься ж, Валенька!

Он тебя не съест,
Золоченый, маленький,
Твой крестильный крест.

Пусть звучат постылые,
Скудные слова —
Не погибла молодость,
Молодость жива!

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.

Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас.

Но в крови горячечной
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы.

Возникай содружество
Ворона с бойцом —
Укрепляйся мужество
Сталью и свинцом.

Чтоб земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла.

Чтобы в этом крохотном
Теле — навсегда
Пела наша молодость,
Как весной вода.

Валя, Валентина,
Видишь — на юру
Базовое знамя
Вьется по шнуру.

Красное полотнище
Вьется над бугром.
«Валя, будь готова!» —
Воскликает гром.

В прозелень лужайки
Капли как польют!
Валя в синей майке
Отдает салют.

Тихо подымается,
Призрачно-легка,
Над больничной койкой
Детская рука.

«Я всегда готова!» —
Слышится окрест.
На плетеный коврик
Упадает крест.
И потом бессильная
Валится рука —
В пухлые подушки,
В мякоть тюфяка.

А в больничных окнах
Синее тепло,
От большого солнца
В комнате светло.

И, припав к постели,
Изнывает мать.

За оградой пеночкам
Нынче благодать.

Вот и все!

Но песня
Не согласна ждать.

Возникает песня
В болтовне ребят.

Подымает песню
На голос отряд.

И выходит песня
С топотом шагов

В мир, открытый настежь
Бешенству ветров.

*Апрель — август
1932*

Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым

— Где нам столкнуться!
Вы — другой народ!..
Мне — в апреле двадцать,
Вам — тридцатый год.
Вы — уже не юноша,
Вам ли о войне...
— Коля, не волнуйтесь,
Дайте мне...
На плацу, открытом
С четырех сторон,
Бубном и копытом
Дрогнул эскадрон;
Вот и закачались мы
В прозелень травы, —
Я — военспецом,
Военкомом — вы...
Справа — курган,
Да слева курган;
Справа — нога,
Да слева нога;
Справа наган,
Да слева шашка,
Цейс посередке,
Сверху — фуражка...
А в походной сумке —
Спички и табак.
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак...

Степям и дорогам
Не кончен счет;
Камням и порогам
Не найден счет;
Кружит паучок
По загару щек;
Сабля да книга, —
Чего еще?

(Только ворон выслан
Сторожить в полях...
За полями Висла,
Ветер да поляк;
За полями ментик
Вылетает в лог!)

Военком Дементьев,
Саблю наголо!

Проклюют навывлет,
Поддадут коленом,
Голову намывают
Лошадиной пеной...
Степь заместо простыни:
Натянули — раз!

...Добротными саблями
Побреют нас...

Покачусь, порубан,
Растянусь в траве,
Привалюся чубом
К русой голове...
Не дождались гроба мы,
Кончили поход...

На казенной обуви
Ромашка цветет...
Пресловутый ворон
Подлетит в упор,
Каркнет «неветмоге» он
По Эдгару По...

«Повернитесь, встаньте-ка...
Затрубите в рог...»

(Старая романтика,
Черное перо!)

— Багрицкий, довольно!
Что за бред!..

Романтика уволена —
За выслугой лет;
Сабля — не гребенка,
Война — не спорт;
Довольно фантазировать,
Закончим спор, —
Вы — уже не юноша,
Вам ли о войне!..
— Коля, не волнуйтесь,
Дайте мне...

Лежим, истлевающие
От глотки до ног...
Не выцвела трава еще
В солдатское сукно;
Еще бежит из тела
Болотная ржавь,
А сумка истлела,
Распалась, рассеклась;
И книги лежат...

На пустошах, где солнце
Зарыто в пух ворон,
Туман, костер, бессонница
Морочат эскадрон.
Мечется во мраке
По степным горбам:
«Ехали казаки,
Чубы по губам...»

А над нами ветры
Новью говорят:
— Коля, братец, где ты?
Истлеваю, брат! —
Да в дорожной яме,
В дряни, в лоскутах,
Буквы муравьями
Тлеют на листьях...
(Над вороньим кругом —
Звездяный лед,
По степным яругам
Ночь идет...)
Нехристь или выкрест
Над сухой травой, —
Размахнулись вихри
Пыльной булавой.

Вырваны ветрами
Из бочаг пустых,
Хлопают крылами
Книжные листы;
На враждебный Запад
Рвутся по стерням:
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак...
 (Кочуют вороны,
 Кружат кусты.
 Вслед эскадрону
 Летят листы.)

Чалый иль соловый
Конь храпит.
Вьется слово
Кругом копыт.
Под ветром снова
В дыму щека;
Вьется слово
Кругом штыка...
Пусть покрыты плесенью
Наши костяки.
То, о чем мы думали,
Ведет штыки...
С нашими замашками
Едут пред полком —
С новым военспецом
Новый военком.
Что ж! Дорогу нашу
Враз не разрубить:
Вместе есть нам кашу,
Вместе спать и пить...
Пусть другие дразнятся!
Наши дни легки...
Десять лет разницы —
Это пустяки!

Возвращение

Кто услышал раковины пенье,
Бросит берег — и уйдет в туман;
Даст ему покой и вдохновенье
Окруженный ветром оксан...

Кто увидел дым голубоватый,
Подымающийся над водой,
Тот пойдет дорогою проклятой,
Звонкою дорогою морской...

Так и я...
Мое перо писало,
Ум выдумывал,
А голос пел;
Но осенняя пора настала,
И в деревьях ветер прошумел...

И вдали, на берегу широком
О песок ударилась волна,
Ветер соль развеял ненароком,
Чайки раскричались дотемна...

Буду скучным я или не буду —
Все равно!

Отныне я — другой...
Мне матросская запела удаль,
Мне трещал костер береговой...

Ранним утром
Я уйду с Дальницкой,

Дынь возьму и хлеба в узелке, —
Я сегодня
Не поэт Багрицкий,
Я — матрос на греческом дубке...

Свежий ветер закипает брагой,
Сердце ударяет о ребро...
Обернется парусом бумага,
Укрепится мачтою перо...

Этой осенью я понял снова
Скуку поэтической нужды:
Не уйти от берега родного,
От павлиньей,
Радужной воды...

Только в море —
Бесшабашней пенье,
Только в море —
Мой разгул широк.
Подгоняй же, ветер вдохновенья,
На борт накренившийся дубок...

1924

Содержание

Эдуард Багрицкий. <i>Вступительная статья</i> <i>И. Гринберга</i>	3
--	---

Стихи и поэмы

Птицелов	17
Песня о рубашке	19
Джон Ячменное Зерно	22
Разбойник	25
Тиль Уленшпигель. Монолог	30
Арбуз	33
Ночь	35
Голуби	38
Дума про Опанаса (поэма)	42
Происхождение	56
Встреча	58
Вмешательство поэта	61
ТВС	64
Веселые нищие	68
Человек предместья	77
Смерть пионерки	83
Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым	89
Возвращение	93

Эдуард Багрицкий. ДУМА ПРО ОПАНАСА.

Хабаровское книжное издательство,
г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.

Редактор А. В. Семенов Художник В. В. Максин.

Художественный редактор А. В. Колесов.

Технический редактор М. Д. Кайдалова. Корректор Н. П. Рыжова.

Сдано в набор 27/III 1968 г. Подписано к печати 2/VI 1969 г.

Бумага на текст типографская № 3.

Формат 84 × 108₃₂ = 1,5 б. л., 5,04 п. л., 4,625 уч.-изд. л.

Тираж 200 000 экз. (80 001—200 000). Заказ № 2416. Цена 23 коп.

Типография № 1 Краевого управления по печати,
г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.

Багрицкий Э.

Б14 Дума про Опанаса. Хабаровск. Кн. изд. 1969.

96 с. («Школьная библиотека»). Тираж 200 000 экз. Цена 23 коп.

В книгу включены избранные произведения известного советского поэта. Творчество его проникнуто страстным жизнелюбием, оно будит мужество и отвагу, весомо и зримо раскрывая поэзию революционной борьбы. Стихи и поэмы Багрицкого дороги и ровесникам поэта, и поколению, со школьной скамьи пошедшему в битвы Великой Отечественной войны, и тем юношам и девушкам, что «встают на пороге веселых времен, о которых так мечтал поэт».

7-6-3

P2

Созданием файла в формате pdf

занимался ewgeniy-new

(апрель 2014)

23 коп.

